

ЖОЗЕФ ДЕ МЕСТР И СЕНТ-БЁВ В ПИСЬМАХ К Р. СТУРДЗЕ-ЭДЛИНГ

Статья и публикация А. Марковича

I

Экзотическое имя Роксандры Стурдзы для читательской памяти тускло. Оно не вызовет даже у любителей исторической литературы скольконибудь отчетливого образа. Скорее всего, юношеские насмешливые строчки Пушкина: «Я вокруг Стурдзы хожу, вокруг библического,—я на Стурдзу гляжу монархического», заставят читателя предположить, что речь идет о какой-либо родственнице этого дипломатического чиновника и идеолога александровской реакции 1810-х годов. Роксанда Стурдза была в самом деле старшей его сестрой, которой он обязан не только своим выдвижением в верхи придворной бюрократии, но и кругом идей, которые он от нее заимствовал. То, что общество так мало знало о ней при жизни и не многим больше после смерти,—не случайность, а нарочитость. Она не любила гласного существования. Сама она зачертила себя в осторожных и кратких мемуарах, которые были написаны ею еще в 1829 г., но пролежали под спудом полу столетие, пока П. Н. Бартенев не издал их в 1888 г.¹ За шестьдесят лет, протекавших с тех пор, нет ни одного исследования, где Роксанда Скарлатовна проходила бы близко перед глазами, ни одного издания документов, которое сообщало бы настоящую осязательность ее смутному облику. Между тем, существует нетронутый и значительный архив ее бумаг². Роксанда Стурдза поступила осмотрительно, избрав себе затененное существование. Вначале это было тактическим приемом успехов, в конце это стало выводом из крушения ее притязаний и надежд. В самом деле, она оказалась только неудачницей и после этого не сочла нужным ни цепляться, ни размениваться. На десять лет жадной придворной карьеры приходится тридцать лет добровольного устранения от политики и двора,—такова история ее короткого сближения с Александром I, ее соперничества с Елизаветой Алексеевной, ее положения в кругу «друзей императора», ее связей с политикой и политиками 1810-х годов, а затем длительного и малоприметного существования в качестве супруги рядового веймарского дипломата, графа Эдлинга.

Мемуары ее, написанные после смерти Александра I,—точное отражение ее приемов и ее характера: тайного честолюбия, неразглашаемых успехов и прикрытого поражения. Нет ничего нагляднее их уклончивости, обиняков и недоговоренностей. В них нет выдумки, но они говорят не всё. Роксанда Стурдза стояла рядом с важнейшими людьми и делами середины александровского царствования, для нее не было тайн в высочайшем кругу,—она знала всё и всех возле трона; она немало делала сама и еще больше через других,—и будь у нее желание написать подлин-

ные воспоминания, она могла бы, при своей зоркости, памяти и уме, оставить записки большого веса, яркую картину российско-императорской политики восьмьсот десятых годов. Но она не чувствовала к этому влечения. Если она и стала писать, то для того лишь, чтобы закрепить свой образ таким, каким она его делала в жизни и каким хотела оставить будущему.

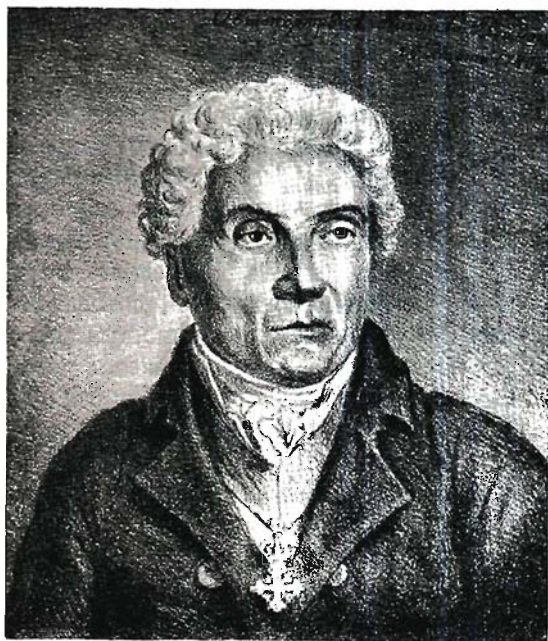
Прежде всего, в мемуарах внушается, что Роксандра Стурдза всем обязана лишь себе самой. Видимо, это соответствует тому, что было на самом деле. Внучка молдавского господаря, русского клеврета, родившаяся в Константинополе в 1786 г. и привезенная после Ясского мира в 1792 г. в Россию, она росла в довольстве, но не в богатстве, и среди провинциального дворянства, а не столичной знати³. Ей было пятнадцать лет, когда после убийства Павла I семья ее переселилась в Петербург, пытаясь найти себе место среди удачников, выдвинутых новым царствованием. Это осуществлялось плохо и туго, со значительными усилиями и скромными итогами, среди служебных обид и семейных несчастий. Сама Роксандра, уже взрослой девицей, на двадцатом году, была, наконец, пристроена ко двору. Она оценила обстановку сразу и сделала выводы. Она стала терпеливо, но настороженно ждать своего «случая». Когда в пору начавшегося ее фавора у царской семьи (ибо вскоре она обворожила всех троих — и обеих цариц, и царя) придворные давали ей наименование «честолюбивцы, притворщицы, интриганки»⁴, традиционное светское недоброжелательство лишь преувеличивало, но не изобретало черты ее душевного склада и общественного поведения. Разгоравшееся, в жажде большого влияния и больших дел, воображение Стурдза умеряла осмотрительностью влечений и обдуманностью шагов. «Открытость, доброжелательство, большая естественность», как ретроспективно описала Стурдза свою манеру держаться в придворном кругу, были свойствами, которые она поставила на службу целям личным и целям политическим. Такими были, во-первых, возобновление благополучия семьи Стурдза; во-вторых, стремление к независимости Греции и, в-третьих, удержание близости с Александром I. Цели, как будто такие разные, были в жизни лишь тремя сторонами одного предмета: восстановление блеска родового господарского имени было связано с восстановлением самостоятельности греческого государства, а это, в свою очередь, в далеко не последней степени зависело от возможности интимно влиять на российского императора.

Первые проявления своей жизненной тактики она начала в двух местах: в окружении вдовствующей императрицы и в доме морского министра Чичагова. При дворе Марии Федоровны она сосредоточила внимание на старой графине Ливен, воспитательнице великих княжен; потраченные усилия были вознаграждены успехом: она была замечена и допущена к частому общению с княжнами; вскоре ей стало известно, что она уже накануне фрейлинства у «вдовствующей». Но тут обозначились возможности большей значимости; она дала себя заметить одной из влиятельнейших женщин «молодого двора» — графине Головиной: при ее содействии она была назначена фрейлиной к новой царице, причем оказалось, что ее назначением осуществлялся план постепенного окружения молодой императрицы иными людьми, нежели она сама себе выбрала⁵. Здесь было заложено начало тем сложным отношениям, в которых она очутилась между императрицей и Александром и которые затем приняли вид, дававший в 1810-х годах основания Елизавете Алексеевне подозревать, что

ЖОЗЕФ ДЕ МЕСТР

Рисунок неизвестного художника. Сверху ошибочная помета неизвестной рукой:
„Автопортрет Михаила Воинова 25 марта
1780 г.“

Собрание И. С. Зильберштейна, Москва



фрейлина Стурдза осуществляет возле нее политико-наблюдательные цели, а Ростопчину—говорить, что она просто царева шпионка⁶. «Дней Александровых прекрасное начало» требовало от каждого царедворца, притязавшего на внимание Александра, обладания известным запасом общеполитических идей, отчетливых или туманных, но хоть сколько-нибудь отвечающих сложности внешних и отечественных отношений в 1800-х годах. К тому времени, когда Стурдзе удалось устроиться при дворе, она, действительно, уже прошла подготовку в такой отличной школе, какой был салон Чичагова. Она знала «сумасбродного адмирала» издавна. Ее семья дружила с чичаговской еще в павловское время⁷. При дворе Александра Чичагов был на особом положении. Его поведение было образчиком придворной независимости, его связь с царем—мерилом александровской терпимости, его собственный салон—примером допустимой политической широты. В житейском обиходе он был страстным спорщиком, занимательным собеседником, *causeur*’ом. Он искал антагонистов, хотя бы и крайних, только бы убежденных. Он сам был умен, наблюдателен, прямолинеен и красноречив; его «Записки», посмертно напечатанные лишь в извлечениях осторожными наследниками⁸, сохраняют непосредственный склад его личности и живой отзвук его речи. Он был «другом императора», не будучи ни среди «молодых друзей», ни среди «близких вельмож». Он был либералистом, западником, противокрепостником, независимо от кружка Новосильцева, Чарторыйского, Строганова, Кочубея, и был приближенным министром, старым царедворцем, независимо от Волконского, Салтыкова, братьев Толстых и других блюстителей крепостничества в интимном кругу Александра. Поэтому он был одинок, «двух станов не боец»,—больше фрондёр, чем деятель, и чаще наблюдатель, чем исполнитель. Но зато его дом представлял собой один из лучших пунктов для наблюдения и для первых связей с людьми и делами внутренней и внешней политики русского двора.

Роксандра Стурдза извлекала из чичаговского общества всё, что могло питать ее мечты и помогать ее стремлениям, но идейная сердцевина чичаговского фрондёрства была для нее и чужда и опасна. Политический романтизм сочетался в ней с житейской трезвостью. Знаменательно ее отношение к «молодым друзьям» императора. Она была почти их однолетка; она была так же честолюбива; едва ли не у нее одной, среди всего круга придворных девиц, были дарования и возможности стать с ними рядом,—это было бы естественно: время, когда она поднялась наверх, было еще их временем, последним этапом их гегемонии. Но в том, что говорят о них ее «Мемуары», слышится не голос двадцатилетней фрейлины, а ворчливое недоумение, растревоженная злость, каким «старая партия» встретила и сопровождала весь пятилетний фавор «негласного комитета»⁹. Стурдза была со «старой партией»; старики представлялись ей надежнее; у нее был верный нюх не только в том смысле, что пора «наперсников» уже была на исходе, но и в том житейском, непосредственном смысле, что покровительство Ливен и Головиной скорее и ближе вело к цели.

Тут сказалось и одно особое влияние. Именно оно сейчас занимает нас. Оно шло со стороны. К этой среде исконных царедворцев, как к собственной,—к Толстым, Волконским, Головиным—примыкал нерядовой человек, воплощавший своеобразием своего положения в высочайшем петербургском свете, своими идеями, своей политикой да и личными особенностями то, чего искала для себя Роксандра. Таким был Жозеф де Местр. В 1800-х годах этот савойский эмигрант и сардинский посланник, потом временный подданный и временный советник русского императора, может быть назван ее наставником. Ученики у него были редко¹⁰.

Она познакомилась с ним в чичаговском салоне. Он был там завсегда-таем. Чем менее походил он на хозяина дома, тем более тянулись они друг к другу. Они дружили, хотя и своеобразно. Местр являлся в чичаговский дом, как на поле брани. Он выступал главным антагонистом чичаговского вольнодумия, а Чичагов на местровской реакционности испытывал надежность своего либерализма. Перед Роксандрой разворачивались бои, в которых она была сначала молчаливой зрительницей, а затем оруженосцем красноречивого философа феодальной реакции. Она питалась энциклопедизмом его цитат, обнадеживалась его историческими предвидениями, проникалась его характеристиками людей и событий: «Именно там [у Чичагова] завязала я знакомство с графом де Местром и его братом [Жсавье]. Но старший, чьи сочинения составили эпоху, присоединял ко всем сокровищам знаний и дарования еще редчайшую чувствительность, которую он вносил в самые простые жизненные отношения. Непреклонный, часто даже нетерпимый в своих убеждениях, он был всегда снисходителен и дружелюбен в личных отношениях к людям. Страстный ценитель женщин, он искал их общества и их одобрения. Дружба, которую он мне выказывал, была для меня столь же приятна, как и полезна, ибо граф де Местр занимал видное место в обществе, и было достаточно удовольствия, какое он находил в моей беседе, чтобы создать мне репутацию. Мы были единомышленниками во всем («nous nous entendîmes sur tout»), кроме католической религии, коей он был ревностным защитником. Интимно связанный с иезуитами, он лелеял надежду увидеть день, когда русская церковь вступит в союз с ними, и он по мере сил помогал ей в этом

смелом плане. Я же, убежденно исповедуя веру моей страны, выслушивала всё то, что граф де Местр говорил мне по этому поводу, не противореча и не огорчаясь...»¹¹.

Несомненно, что политические соображения сыграли свою роль в краткости этих строк. Они должны были бы остаться нерасшифрованными, ежели бы не сохранившаяся в эдлинговском архиве большая пачка писем автора «Санкт-петербургских вечеров». Эта корреспонденция наполовину опубликована, наполовину нетронута. И в той и в другой части она равно важна для изучения отношений Местра и его адресатки. То, что в «Записках» сказано о Местре, очень кратко; однако, то, что с такой краткостью сообщается,—достоверно. Графиня Эдлинг утверждает две вещи: во-первых, что была известная личная заинтересованность, внутреннее влечение к ней со стороны сардинского посланника, и, во-вторых, что она чувствовала себя его единомышленницей во всем, кроме вероисповедания. Для нас ныне это второе занимательнее и существеннее первого; сто лет, прошедшие с тех пор, как написаны мемуары Стурдзы, переместили центр тяжести. Но ежели стать на точку зрения среды, в которой и ради которой составлялись «Записки», то заявления об идейном тождестве воззрений являются менее отважными и обязывающими, нежели утверждение, что Жозеф де Местр искал ее общества и бесед. Тут она выдавала себе аттестацию большого масштаба. В идейной области достаточно было оставаться местровской ученицей; здесь же надо было быть если не соперницей, то, во всяком случае, ровней. Тем не менее, Стурдза не преувеличивает. Она, в самом деле, владела столь особым искусством беседы, что даже злоязычники и недруги слагали оружие и воздавали ей должное. Природно глумливый Вигель счел нужным, для усиления эффекта, даже избрести противоположность между неказистостью ее облика и обаянием ее речи. Он именует ее безобразнейшей из фрейлин, однако, словно бы лишь для того, чтобы это противопоставить панегирику ее талантам: «...Но лишь только она заговорит, и вы очарованы, и даже не тем, что она скажет, а единственно голосом ее, нежным, как прекрасная музыка. И когда эти восхитительные звуки льются, что выражают они? Или глубокое чувство, или высокую мысль, или необыкновенное знание, облеченное во всю женскую грациозность, и притом какая простота! Какое совершенное отсутствие гордости и злобы! Превосходство души равнялось в ней превосходству ума»¹².

Жозеф де Местр оценил и поддержал такое дарование тем готовнее, что тут он был неоспоримым законодателем. У него это было первым из талантов. Литературные произведения были у него остывшими переказами словесных импровизаций. «В беседах он был еще более значителен, чем в писаниях; то, что тут отзывалось остроумничанием, нарочитостью, а порой и несколько дурным тоном, лучше осваивалось и словно бы искрилось в самой речи и подкреплялось его личностью»¹³. Собеседниками ему отваживались быть немногие: «Я недостаточно силен, чтобы спорить с вами»,—говорит у него Кавалер в «Санкт-петербургских вечерах»¹⁴. Начинаящая же Роксандра отваживалась. После чикаговского салона, пока адмирал пребывал в чужих краях, это продолжалось в собственном ее доме, «в Яссах», как острил Местр,—на обедах, которые дважды в неделю давали старики Стурдза и где она играла роль хозяйки¹⁵. Местр даже прижился и стал у Стурдзы своим человеком. Роксандра была теперь постоянной спутницей тех часов местровских будней, когда он

«влачился прочь из дому». Прямых записей их бесед не осталось, но по отражениям в его письмах и ее рукописях можно сказать по-пушкински, что «меж ними все рождало споры и к размышлению влекло, племен минувших договоры, война и мир, добро и зло». Для Местра такой круг вопросов был обычен: от «Размышлений о Французской революции» до «Санкт-петербургских вечеров» и «Папы» он был сугубо занят тем, что ему представлялось философией истории и что было лишь яростной тяжбой с современностью, пророчествами реставрации, ожиданиями Немезиды для революционеров и т. д., и т. п.

Но и для Роксандры это было не чужой областью. Ее беседы с Местром были не отвлеченными упражнениями юной мысли. Она вела их применительно к своим чаяниям и к своей судьбе—к родовым утратам в прошлом, к двойственному положению в настоящем, к большим притязаниям на будущее. Для местровских рассуждений она искала жизненного применения. Ее деловитая природа воспринимала их в практическом виде. Когда впервые читаешь ее «Записки» или бумаги ее архива, удивляешься не столько общей схожести ее самочувствия с местровским, сколько совершенной переимчивости, которую она проявляет то тут, то там вослед наставнику. Характерно, что девятнадцатилетняя Стурдза определяет общий закон своего поведения, как «скромную сферу созерцания»—формула нерядовая для ума и языка подростка. Но это—лишь отражение Жозефа де Местра; он именно так говорил о себе: «Бог создал меня, чтобы мыслить, а не волиять. Я не умею действовать, я провожу время в созерцании». Однако, остается место и для разногласий. Мемуары Эдлинг их подчеркивают. Во след свежей памяти изгнанию иезуитов из России и местровской скомпрометированности, Стурдза сочла необходимым дать пространное объяснение о том, как относится она к католическому прозелитизму своего друга. Но мы остались без авторских разъяснений относительно того, что имела она в виду, подчеркивая свое «согласие с ним во всем, кроме религии». Это надо нам вскрыть самим—по косвенным указаниям, по сопоставлениям. Да и относительно вероисповедного расхождения Эдлинг не сказала самого важного, поскольку противоположение православия католичеству было для нее не основным, а производным. Это обнаружится позднее, когда Стурдза будет уже в больших ролях, когда в начале 1810-х годов она поведет собственную линию. Для первой поры общения с Местром нет основания ни отвергать, ни видоизменять ее решительного свидетельства. Прежде всего, у него и у нее родственно-общее ощущение жизни. Она, как и он, чувствовала себя «родов униженных обломком». Оба они—изгнанники, заброшенные в страну, которая, правда, не стала им маечхой, но не была и родиной. Для обоих прошлое—это блестящее положение их семей на родовой земле; для обоих настоящее—это перемогание, полунужда, полудостаток, полунунижение, полупочет, постоянное сознание своей жизненной второстепенности, при избытке гордости и сил; для обоих будущее—это, прежде всего, восстановление прошлого, борьба за реставрацию, за возвращение того, что было, при помощи того, что есть. Стурдзовский речитатив вступления в жизнь: «ни богатства, ни протекции, ни красоты»,—это эхо жалоб Жозефа де Местра, повторявшего целых два десятилетия: «Все потеряно для меня,—нет ни отечества, ни состояния, ни даже короля!»¹⁶; «...поистине... я мертв, и только похороны задержались...»¹⁷; «...чужой для Франции, чужой для Савойи, чужой для Пьемонта, я не знаю будущей своей судьбы...»¹⁸. Самые подступы к фи-

лософии и политике реставраторства были у Роксандры те же. Она вовсе не росла господаршей, княжной в изгнании. Если молодость Местра была антипапистской и франкмасонской, если зарю революции 1789 г. он встретил с непредубежденным и почти сочувственным вниманием, как конец «деспотии»¹⁹, то и детство Роксандры проходило не среди боярско-молдавской косности и проклятий напиравшей новизне века; турецких кровавых уроков было достаточно, чтобы в семье Стурдзы раздавались также иные речи; первые же страницы эдлинговских мемуаров говорят нам: «Революция во Франции занимала тогда все умы. Мы слышали с утра до вечера споры о самых высоких предметах». Ее воображение подростка равно пленяли противоположности: «...то мученицей свободы я умирала на эшафоте с мужеством Порции, то приверженицей злосчастной королевской семьи я делила с ней опасности судьбы...»²⁰.

Роксандра была в состоянии понять и усвоить одну из наиболее своеобразных черт местровской программы реставрации—его убеждение в исторической, «провиденциальной» обусловленности революции и в том, что бороться с революцией надо, считаясь с ней, как с фактом; именно это приводило его в дипломатической деятельности к политике конъюнктур—«экспериментальной политике», как он ее именовал,—где ценности своеобразно перемещались, где узурпаторство и легитимизм менялись ролями, где Местр считал нужным пытаться договориться с «посланником провидения»²¹, пришельцем Бонапартом, но не видел общих путей для себя с исконными австрийскими Габсбургами, и где роль супер-арбитра, бескорыстного судьи европейских дел, возлагалась на русского



Р. С. СТУРДЗА-ЭДЛИНГ
С литографии 1820-х гг.

царя²². Многолетние апологии, которые Местр расточал Александру, которые продолжались после Аустерлица так же, как после Тильзита, и после Смоленска так же, как после Бородина, которые он доводил до императорских ушей и непосредственными меморандумами, и монологами в высоком свете, и предназначенными к перлюстрации письмами за границу, были целой системой, направляемой на то, чтобы не дать поколебаться вере в решающее значение русской мощи среди происходящей борьбы наследников абсолютизма и наследника революции. Образ «царственного рыцаря» был изобретен для Александра как раз Жозефом де Местром, назвавшим царя еще в предаустерлицкую эпоху «Godefroy de cette nouvelle croisade» — «Готфридом Бульонским нового крестового похода»²³ и умевшим превращать в душевозвышающее зрелище даже растерянное бегство и немужественные слезы Александра после аустерлицкого разгрома. Обожание, которое выказывала царю Роксандра, было продиктовано, конечно, не Местром, а исконным обычаем придворной среды, но тот особый оттенок, который Стурдза вносила в свое показное, а может быть, и в действительное чувство, умиленность перед тем, что она также именovala александровой «рыцарственностью»²⁴, — тут местровская печать едва ли оспорима.

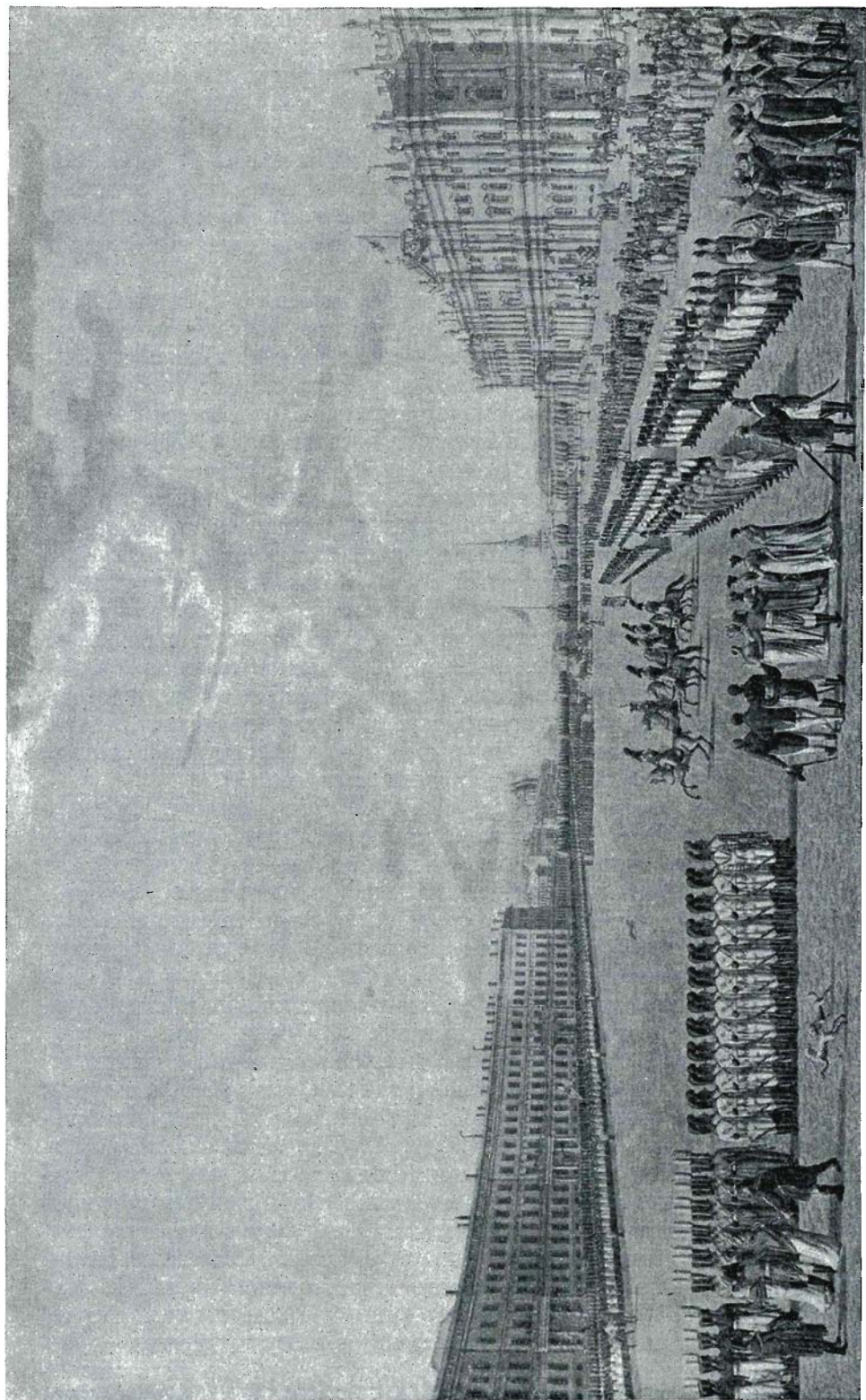
Иначе и не могло быть, поскольку и фрейлинское положение, и честолюбивые мечты требовали использования главного рычага местровской «экспериментальной политики», ставки на Александра, в самом важном, что занимало тогда Стурдзу, — в «эллинской реставрации». Опять-таки не Местр посеял это зерно. Больше того, он, видимо, даже считал восстановление греческой независимости неосуществимым, во всяком случае, преждевременным. Вдохновителем тут был Каподистрия, первый вождь молодежи в семейном кружке Роксандры, может быть, единственный человек, который вызвал в ней и бескорыстное признание и безрасчетную любовь, — «один из тех людей, чье знакомство составило бы эпоху в жизни, даже если бы он и не представлял исторического интереса; на его прекрасном лице лежала печать гения...»; «...старше нас по возрасту, он уже пытался осуществить великолепную мечту, посвятив лучшие годы юности созданию на родных Ионических островах республики, которую Тильзитский мир только-что разрушил...»²⁵. Но возобновить борьбу за эллинскую самостоятельность при помощи русской политики, уметь продвинуть для этого Каподистрию в царский кабинет, не прекращать ради этого годами, вопреки капризам событий и сопротивлению Александра, и тайной и открытой работы — значило следовать тому примеру, какой давал Жозеф де Местр настойчивой, неизменяющей привязанностью к своей маленькой родине, которая была лишь разменной монетой в больших военно-дипломатических играх наполеоновской поры, но от которой его не могли оторвать ни пятнадцать лет политических неудач и патриотических унижений, ни соблазны блестящей карьеры при русском дворе, наподобие той, что сделал Паулуччи — пьемонтский «проходимец», по выражению Чичагова, или Винценгероде — «беглый пруссак», по терминологии Наполеона, или иные ренегаты своих попавших в беду отечеств.

Именно этот местровский урок патриотизма питал и главное разногласие между учителем и ученицей — в вопросе вероисповедания. Опять-таки для обоих религиозность вовсе не была чем-то бережно сохранным с детства и естественно разросшимся со зрелостью. Их история была вновь схожей: они оба сменили ребяческую набожность на молодое вольно-

мыслие; Местр в 1770-х годах был антипапистом и франкмасоном, а Эдлинг с первых же мемуарных строк отмечает, что хотя отец ее, «глубоко верующий, внушал [своим детям] сызмальства почтение к религии, однако, чтение многочисленных философских трудов поколебало нашу веру...»²⁶. Если Местр стал затем воинственным католиком и покровителем иезуитов, а Эдлинг—упорной блюстительницей православия, то внутреннее чувство здесь следовало за внешними побуждениями²⁷. В мистических излияниях и в религиозном поведении Стурдзы была своя система приспособляемости к модной светской экзальтации 1800-х годов, когда громкие упования на господа и шумные пророчествования о будущем должны были прикрыть тайный ужас перед недавней революцией и безнадежное смятение перед настоящим. Роксандра лишь проявляла оглядку и сдержанность, свойственные ее природе и манере держаться. Основа ее религиозности, как и Местра,—политическая. Именно это делало ее православие твердым. Для Стурдзы отпор местровским католическим внушениям диктовался государственными видами. То, что принесли ей планы Каподистрии, то, что грезилось ей в близости к Александру, и то, чего требовали, наконец, интересы семьи Стурдза, обязывало к верности православию: оно было религией греческого народа, а какая же политика восстановления его независимости и какие расчеты на собственную роль могли сочетаться с пропагандой католичества? Для Местра была, видимо, ясна эта связь неозеллинизма и православия, и его контратаки были направлены на основное, что служило помехой: он критиковал не догму, а политику; на такое предположение наводит одно его замечание в петербургском трактате о папе—оно кажется откликом споров с Роксандрой о перспективах греческой реставрации. Местр говорит: «Я беседовал с людьми, которые долго жили в Греции и близко изучали ее жителей. Они высказывались единодушно относительно того, что никогда нельзя будет установить греческой государственной самостоятельности (*une souveraineté grecque*)... Я очень желал бы ошибиться, но ни один глаз человеческий не в состоянии разглядеть, когда придет конец порабощению Греции, а если оно и кончится, как узнать, что тогда произойдет?»²⁸. Это было написано в 1817 г. и предъявлено читателям в 1819 г., но не прошло и двух лет, как фанариотское восстание 1821 г. показало, чего стоили пророчества Местра, а проживи он еще немного, ему довелось бы увидеть петербургского знакомого, стурдзовского Каподистрию, верховным главой греческой республики,—как Роксandre, проигравшей своей изменой Каподистрии почетное место рядом с ним, довелось дожить до времени, когда ее родич, Михаил Стурдза, стал господаром автономной Молдавии.

Отказ от Местра в делах вероисповедных, таким образом, не был запоздалым отречением мемуаристики от высланного из России иезуитского агента. Он даже глубже и больше соответствует тому, что было в действительности, нежели это явствует из верхнего слоя доводов, которыми «Записки» Эдлинг обосновывают расхождение. Но и стурдзо-местровское единомыслие было крепче и глубже, чем это отражено краткостью мемуаров. В тождествах была та же обусловленность, что и в разногласии: они становятся тем чаще, чем ближе подходят к житейской практике, к придворным и политическим будням. Тут Местр подсказывает Роксandre ходы и решения, охотно ведет ее за собой, при нужде сам действует вместо нее. Zenит его придворного фавора и начало роксандровского восхождения

совпадают. То пятилетие 1807—1812 гг., когда он был оракулом «старой партии», когда Толстые, Волконские, Головины были его людьми, когда он смешивался с ними во вражде к «любимцу» Лагарпу в прошлом и к «царевым наперсникам» в настоящем; когда он блистательно выражал то, что они выговаривали лишь косноязычно²⁹; когда царские уши, то за ширмами обер-гофмаршальского кабинета, то прямо, выслушивали советы и представления староверов в личном, местровском изложении; когда он если не возглавлял, то оформлял решающую интригу против Сперанского и мог падение последнего считать и своим собственным успехом; когда, наконец, он стал неофициальным, но общеизвестным царским секретарем и на время даже российским подданным³⁰,—это пятилетие было и для Роксандры решающим в завоевывании положения при дворе, в сближении с Александром. После 1812 г. она уже не нуждалась в стороннем содействии; но до 1812 г. всякое покровительство было ей драгоценно. Помощь же Местра тогда была и весома и деятельна. Если графиня Головина сыграла главную роль в том, что Стурдза получила свое фрейлинство, то, в свою очередь, именно Местр сблизил Роксандру с самой Головиной. А при их общей помощи и им вослед³¹, Роксандра вошла младшим сочленом в круги «старой партии», изучила ее влечения и антипатии и стала пользоваться ее возможностями: так пристроила она брата Алеко, жениха Каподистрию и нескольких других лиц своего круга; Местр был ходатаем, хлопотуном, советчиком. В его корреспонденции со Стурдзой эти заботы о ней, о ее семье, о ее протееже тянутся из письма в письмо, так же как из письма в письмо он сообщает ей о своих личных малых делах. В семье Стурдза он свой, как и она для него своя. Как ни прижился Местр у Стурдз,—связывала их всё же она одна. Его посещения стурдзовского дома стали частыми, его дружественное расположение к отцу, матери, сестре и брату Роксандры сделалось привычным, но поддерживалось это только вниманием к ней. То, что графиня Эдлинг говорит об особой склонности, которую выказывал ей Местр, подтверждается его письмами. Он оценил ее «искусство беседы». Надо знать сложившиеся навыки, любимейшие привычки Местра, чтобы понять, какого рода приманкой это для него было. «Часы бесед» завершали его день. Они были венцом, наградой его буден. Когда кончалось одиночество тянувшегося дня и наступала, наконец, пора выезда на люди, Местр прикидывал, какой из очередных салонов даст ему радость лучшего собеседования. У него была даже особая теория о сравнительной ценности «разговора», «диалога» и «беседы», изложенная устами Кавалера в восьмом «разговоре» «Санкт-петербургских вечеров»³². Какова ее ценность—неважно; важно, что Местр над ней трудился, ее изготовил и ею пользовался. В XIX в. он был последним представителем классической линии «собеседников»,—последним потому, что г-жа де Сталь умолкла всё же раньше и он на несколько лет переговорил ее. У него было столь же точное представление и о наилучших условиях для ведения беседы. В «Санкт-петербургских вечерах» рассыпаны по страницам похвалы «беседам за чаем»³³. Сам он хотел бы называть эти собрания друзей за чайным столом более торжественно: он предлагал для них античное имя «symposium». Более того, ради соблюдения платоновского стиля, он изображал это в своих писаниях в виде собеседования «мужей». Местр, устами Графа, отрекается здесь от женского общества. Но так было только в его книгах. В жизни у него было наоборот. Он сам признавал это в интимных



ПАРАД НА ДВОРЦОВОЙ ПЛОЩАДИ В ПЕТЕРБУРГЕ

Гравюра с рисунка Б. Патерсена, 1807—1808 гг.

Исторический музей, Москва

письмах к оставленным на Западе друзьям, когда описывал свою трудную петербургскую жизнь; он заявлял: «... ежели бы случайно, графиня, вам пришла охота узнать, что я делаю и как живу, я тотчас ответил бы: вам это известно,—как ходит маятник—т и к-т а к. Вчера, сегодня, завтра—всегда. Я чувствую, что жизнь во мне скудеет. Мне очень трудно влачиться куда-нибудь из дому; часто даже я отказываюсь от очередных обедов, дабы доставить себе удовольствие не выходить целый день; я читаю, пишу, у ч у с ь,—ибо, в конце концов, надо же знать что-нибудь. После девяти часов я приказываю везти себя к какой-нибудь даме, ибо я всегда отдаю предпочтение женщинам...»³⁴.

Роксандра была среди этих «предпочтенных женщин». Она была для него тем больше «собеседницей», что в ее существовании имелось то, чего он требовал для «*symposie philosophique*»—«философской трапезы»: женственность ее манер и облика сочетались с мужским складом ума и воли. Ее искусству собеседницы посвящены одобрительные упоминания, сочувственные отметки, подхваченные темы в его письмах к ней. Они вообще длинные, говорливы, ибо он не столько писал их, сколько записывал воображаемый разговор; они наполнены всякой-всячиной, всегда острят, и не всегда удачно, а порой и невзыскательно («*d'un peu mauvais goût parfois*»); они так пересыпаны намеками и иносказаниями, что для нас это часто только слова без содержания, и мы их слышим, но не понимаем. Эта домашняя складка местровской переписки когда-то составила нечаянную радость ученых читателей, от Сент-Бёва до Фаге: в теоретике изуверства и нетерпимости был открыт добродушный семьянин. Сент-Бёв говорит об этом в первой же своей статье о Местре 1843 г., Фаге начинает спустя целых полвека с этого местровскую характеристику, и даже Тибодэ в новейшем кратком компендиуме истории французской литературы (1936) не считает возможным пройти мимо этого³⁵.

Извлечения из писем к Стурдзе были как раз первыми, привлечшими к себе внимание. Среди всей переписки Местра стурдзовская—в самом деле самая домашняя, более домашняя, чем с собственной его семьей, ибо расстояние и время—тысячи верст и многолетие разлуки—наложили на его семейную корреспонденцию нечто меланхолическое, философски-назидательное, принужденно-важное. А тут, в писаниях к Роксандре, посылаемых из дома в дом по Петербургу или в Царское село, сохраняется вся живость только-что прерванного и вновь начатого разговора. Так говорят, так пишут совсем свои люди.

Он пишет ей: «П о м е с т н и ч а т ь («*castelliser*») рядом с вашей семьей было бы мне особенно сладостно, а так как, к тому же, и вы были бы там,—поневоле пришлось бы набраться терпения; но, увы, нет больше замков для меня! Молния разбила всё. Для меня остались лишь сердца; это большое достояние, когда они так насыщены, как ваше. Внимание, какое вам угодно выказывать мне, я возвожу в ранг тех драгоценных обладаний, которые, по счастью, никем не могут быть конфискованы... Некогда странствующие рыцари покровительствовали дамам; ныне дамы должны покровительствовать странствующим рыцарям. Поэтому благоволите, *Mademoiselle*, принять меня под свое сюзеренство» (петербургское письмо 31 июля/11 августа 1810 г.). Эту декларацию сопровождает целый ряд таких же признаний (хоть и более беглых, но звучащих еще сердечнее), идущих сквозь все годы общения: «С тех пор, как вы нас покинули [для Царского села], душа моя занята лишь мрачными

вещами... Я представляю себе, что вас еще больше ценят в этом уединении, по той простой причине, что чем больше видишь вас, тем больше хочется вас видеть» (7/19 июня 1813 г.). «Я придаю бесконечную ценность той приносящей мне честь дружественности, которой вы меня оделяете. Все мое горе в том, что я поздно вошел в перечень друзей ваших, но зато в этом отношении я преисполнен уверенности, что не сделал ошибки» (13/25 августа 1813 г.); «Получил ваше письмо... мне пришлось весьма по вкусу ваши размышления о времени, уходящем, пока длится вся эта церемония; я не перестаю думать о «лотерее», о которой вы говорите мне» (август-сентябрь 1813 г., письмо курьезно подписано: «Ossip Xaverievitch» — Осип Ксаверьевич); «Я не знаю ни одной особы вашего пола, которая была бы более достойна сосредоточить на себе всю привязанность, всё уважение, всё доверие хоть сколько-нибудь утонченного существа нашей породы» (письмо 1/13 апреля 1814 г. из Петербурга к Стурдзе за границу).

Может быть, следует напомнить, что Местр уже был в середине своих шестидесятих, а Роксандра только переступила свои двадцатые годы, чтобы эта почти сорокалетняя разница помогла оценить удовлетворение, какое должна была испытывать Стурдза. Самое лестное было, пожалуй, не столько в общем признании ее незаурядности, сколько в этом равноправии, в этом отсутствии тона старшего к младшей и знаменитости к безвестной. Его заверения обязывали обоих к далеко идущей откровенности. Местр вообще щеголял ею. Она была у всех на виду и могла бы соперничать с чичаговской, будь она более вызывающей и не столь ловкой. «Граф де Местр — единственный человек, который громко говорит то, что думает, — и притом никогда не совершает неосторожности», — отмечает один его коллега, общавшийся с ним³⁶. Вторая половина суждения стоит первой, и, вероятно, в ней-то и надо видеть соль; но это не мешает рассказу быть свидетельством того, как держался в обществе Местр. Стурдза же сама поведала нам о своей «природной открытости». При их отношениях, откровенность должна была обрываться лишь у порога сердечных тайн одной и государственных секретов другого. Во всяком случае, в письмах Местра к Роксандре не оказалось места ни для ее отношений и разрыва с Каподистрией, ни для фаворитства и неудачи у Александра, — как не существует и темы о местровских служебно-дипломатических демаршах. Но в остальном его письма затрагивают всё, что можно затронуть, — и дела обеих семей, и дела общих друзей, и дела общего внимания при дворе и в свете. Одно лишь наблюдается: возрастание отвлеченностей, наплыв намеков, увеличение иносказаний по мере приближения к высоким людям и событиям. Тут не остается и следа от красочности и подробностей, какие милы Местру, когда он пишет о повседневных вещах. Переход к большим персонам и щекотливым новостям дает себя сразу знать метафорическими, а то и просто туманными оборотами речи, своего рода обменом условными знаками. Нас эти исторические шифры занимают прежде всего, и мы охотно пожертвовали бы изрядной долей «Местра-человека», которому так радовались первые публикаторы его корреспонденции, ради «Местра-политика». Но это так: и он, и Роксандра не пускают посторонний глаз и чужую догадливость дальше известных границ; для обоих шифр в переписке обычен и узаконен. В этих ее частях особенно чувствуется, что она — только дополнение к устным беседам, менее осмотровым и лаконичным, где личности, отно-

шения, происшествия назывались и комментировались громче, шире и определеннее. «Я в восхищении от всего того, что вы мне говорите о прекрасном дьяволе и о лицах, которых он привлек к делу. Все это превосходно. Но что скажете вы об этом двойном командовании? Это можно встретить только здесь. Если бы он оказался победителем на суше и побежденным на море, то не потому ли, что это было бы нелепо? Со своей стороны, я считаю его весьма способным совершить то, что именуется блестящим ударом (*un beau coup*), ибо он умеет импонировать (*il a une tête ascendante*), а как раз это и существенно в мире. К тому же, кто мог бы отказать ему в одном даре, отнюдь не маловажном,—распознавать, подбирать и ценить честных людей...» (письмо из Полоцка, 31 мая/12 июня 1812 г.),—такой отрывок типичен для иносказаний Местра; кое-что мы можем предположить, однако, лишь самое общее; вероятно, речь идет о чичаговском назначении командующим черноморским флотом и армией в 1811 г.; но если это и так, то наша догадливость исчерпывает себя с малой удовлетворенностью. Остальное не рассекречивается.

Все эти выдержки (и здесь, и выше) позаимствованы из тех писем к Стурдзе, которые уже появлялись в печати³⁷. Они были один раз использованы частично и трижды напечатаны полностью, с малыми изъятиями. Частично использовал их Сент-Бёв—первый, кто получил от самой Эдлинг копии, нарочно для него снятые. Но Сент-Бёв промедлил несколько лет, оправдываясь тем, что «перед таким атлетом позволительно испытывать некоторую робость»; когда же за год до смерти Эдлинг появилась, наконец, первая его статья, в ней было приведено лишь несколько местровских цитат, без дат, вперемежку, а характеристика адресатки подменена ходовым заявлением о «драгоценной благожелательности, позволившей» и т. д., да куртуазным указанием, что письма были написаны к «некоей молодой одухотворенной даме»³⁸. Полностью эти эдлинговские копии были напечатаны в 1851 г., в двухтомном издании *«Lettres et opuscules»*, открывшем собою публикацию местровской корреспонденции, начатую Родольфом—Местром-сыном. Но они расположены там в странном порядке, точнее—в беспорядке: без хронологической последовательности и снова без дат. В таком виде вошли они в *«Собрание сочинений»* (*«Euvres»*), осуществленное в 1884—1887 гг., в его XIV том, и так перепечатаны в новейшем издании 1924 г. Сейчас, приводя цитаты по подлинникам, хранящимся в Пушкинском доме Академии наук, мы впервые восстанавливаем датировку писем, нанесенную местровской рукой. Тем самым ход переписки получает естественное свое развитие.

Однако, этой группой писем доля Местра в эдлинговском архиве не ограничивается. Снимая копии, Роксандра Скарлатовна занялась сортировкой. Одно она решила воспроизвести, другое оставила попрежнему под спудом. Припрятанная часть пролежала еще сто лет. Что побудило к этому Эдлинг, сказать трудно. Каких-либо нескромностей или разоблачений оставшееся не содержит. Можно, пожалуй, предположить, что небольшие записки были изъяты потому, что они лишены весомости, массивности основных местровских посланий. Но чем объяснить исключение писем, ничуть не менее обширных, чем скопированные, а частью даже и более важных? Таково предотъездное письмо Местра 1817 г., заключительное для всей переписки со Стурдзой. Заниматься догадками

АЛЕКСАНДР ИПСИЛАНТИ

Рисунок неизвестного художника,
1815—1820-е гг.

Собрание И. С. Зильберштейна, Москва



бесполезно. Что-то помешало графине Эдлинг выпустить полтора десятка писем из под замка,—может быть, иногда намек, который для нас безразличен, а ей неприятен, иногда тривиальное выражение, какие часты у Местра, ибо он питал к ним вкус и уснащал ими писания, когда «не было рядом предостерегателя», как выражался он сам³⁹. Сейчас вся эта вторая неизвестная часть пройдет перед читателем. С ее обнаружением местровская корреспонденция с Эдлинг будет исчерпана. Она не потребует от нас сколько-нибудь подробного объяснения. К тому, что рассказано выше, надо будет добавить очень немного, дабы содержание новых писем и место их среди опубликованного материала стали ясными. В каком порядке расположить их? С большими письмами дело обстоит просто. Они датированы и отделены изрядным временем друг от друга; хронологическая последовательность здесь самоочевидна и обязательна. Но весь ряд записок не имеет этих обозначений. В лучшем случае, стоит название дня да число какого-то неведомого и, обычно, неопределимого месяца. Но именно эти короткие записки являются, в большей своей части, наиболее ранними. С них началась переписка. Об этом говорят внутренние приметы, по которым намечается примерная дата. Они относятся к тому времени первого знакомства Местра с Роксандрой, когда поводов для большой корреспонденции еще не было,—беседы при встречах исчерпывали всё; эти письмеца—только предвестники ее; переписка начнется двумя-тремя годами позже, когда общение с «молдаванкой» станет для Местра привычкой, может быть—потребностью и когда всякий сколько-нибудь длительный перерыв уже толкает его на обширное послание, как бы заполняющее образовавшийся пробел. Ранние же записки выполняют малые служебные роли. Они то сопровождают посланную вещь или книгу, то уведомляют о выполненном поручении, то предваряют о визите, то просят ответить на житейский вопрос. И всё же, эти «повседневки» способны занять нас. Сквозь их краткость прогляды-

вают порой дела, каких не приоткрывают другие местровские послания к Роксандре, длинные, но бессюжетные, где он не отказывает себе в простой игре нанизывания занимательных выражений. Датировать всю группу записок надо примерно промежутком 1805—1813 гг. Эти границы определяются косвенными указаниями; для отдельных частей они суживаются до года-двух. Наиболее ранними представляются те из них, которые адресованы «фрейлине их императорских величеств», ибо это означает, что они относятся к поре, когда Роксандра, начавшая девятнадцатилет, т. е. в 1805 г., службу, была еще на положении фрейлины вообще и не имела специального назначения. Более поздние записки адресованы «фрейлине ее величества императрицы», т. е. Роксандре, уже состоящей при Елизавете Алексеевне; восьмьсот девятый год, повидимому, был тут рубежом. Подвижность и условность хронологии не дают возможности дать запискам выдержанную последовательность по времени. Она тут и не очень нужна. Ее может заменить примерное чередование материала от раннего к позднему, в пределах нескольких основных тем, которым посвящены записочки Местра.

Первая группа, собственно, бессюжетна; ее тема—домашнего порядка. Она интересна тем, что говорит о рано начавшейся задушевности отношений и простоте их. Хронологические границы довольно широки; первую записку надо, вероятно, прямо датировать 1805 г.—началом придворной службы Стурдзы; последняя записка адресуется к фрейлине Елизавете Алексеевне, т. е. переступает 1809 г.

(1)

[Петербург, 1805 г.]⁴⁰

Уверяю вас, M-lle, что я отнюдь не приходил навестить вас вчера, ибо считал, что вы уже вся в беготне,—я приходил проведать вашу матушку; но таковы уж девицы: они вечно воображают, что мы думаем только о них. Вот так-то! Впрочем, я крайне сочувствую трудам вашим, кои чрезмерны при наличии всего лишь двух ног. Я еще не вполне знаю, чем заняты будут нынче вечером обе мои, но я не премину сделать всё, дабы убедить их заняться чем-либо наименее неприятным. Стихи мною получены.

Примите, M-lle, подлинное почтение мое.

М.

Пятница, 10-го.

(2)

[Петербург, 1805—1806 г.]⁴¹

Мне сказали вчера у вашего подъезда, M-lle, что кто-то у вас болен, но не объяснили, ни кто, ни чем. Умоляю вас взять перо и разъяснить мне, что случилось. Если невзначай дело идет о вас самой, беру свою просьбу назад, но обращаюсь с ней к какой-нибудь другой милосердной душе вашего дома.

Поведайте мне вкратце, чем будете заняты вы в ближайшие дни, дабы я мог получить представление о вашем поведении, не прибегая к отвратительной роли соглядатая. Примите, M-lle, выражение моего глубокого и нежного почтения.

М.

На обороте: Mademoiselle Роксандре Стурдзе,
фрейлине и[х] и[мператорских] в[еличеств]

(3)

[Петербург, 1809—1810 г.]⁴²

Я узнал об этом лишь со вчерашнего дня, М-lle, с десяти часов вечера,—и будь это принято, я сегодня же утром явился бы засвидетельствовать вам свое почтение. Я обедаю нынче у герцога, а после этого отправлюсь в Грецию⁴³, в совершенном восторге от удовольствия, что смогу повидаться с вами и уверить вас, равно как превосходную матушку вашу, в неизменных чувствах привязанности и почтения, которые питает к вам

лучший из друзей ваших

Местр

Воскресенье, 6-го.

На обороте: Mademoiselle Роксандре Стурдзе,
фрейлине е[е] в[еличества] императрицы

Наиболее важна вторая группа записок. Она приоткрывает то, что было еще неизвестно. Она впервые позволяет заглянуть в лабораторию, где Местр обрабатывал сердца и умы своих приверженцев. В записках названы книги, которыми он снабжал своих духовных детей. Поименовано немного,—в действительности, было значительно больше, так как, по образу учителя, и ученики были чуть-чуть начетчиками, во всяком случае, книголюбам. Но и то, что названо,—типично и значительно. По времени эти записки относятся к самому концу первого десятилетия восьмисотых годов—повидимому, они должны быть датированы 1808—1810 гг.

(4)

[Петербург, 1808 г.]⁴⁴

Честь имею препроводить вам, М-lle, т р и р е ч и г. де Сен-Мартена. Ежели они направят вас на путь чудес, то смею льстить себя надеждой, что первое же из них будет совершено для меня, поскольку именно я приобщил вас к ним. Оставляю за собой право, в с л у ч а е н а д о б н о с т и, объяснить вам, какой именно диковины я жду от вас,—а это требует размышления, как свидетельствует сказка о колбасе⁴⁵, наличествующая в детском сборнике для назидания взрослых.

Что касается примечаний, то их нет и не будет еще долго, может быть, никогда. Я затеял бесконечное количество вещей, но завершение их зависит от его величества Случая (как говаривал Фридрих II), или от того, что так именуется.

Завтра я проведу весь день в С.-Петербурге, так что не попаду в Яссы. Ежели вы будете там, М-lle, то засвидетельствуйте мое почтение жителям, коих я люблю и почитаю от всего своего сердца.

14/26.

На обороте: Mademoiselle Роксандре Стурдзе,
фрейлине и[х] и[мператорских] в[еличеств]

(5)

Понедельник, 23-го [Петербург, 1810 г.]⁴⁶

Вы знаете, М-lle, что такое «Господин хлопот-полон-рот»? Так вот, благодаря этому титулу, вполне заслуженному, я не имел чести повидаться с вами ни у вас, ни у графини Головиной. Когда я увидел этот

второй том, я не преминул заняться чтением.—Верните мне 1-й.—Нет, я читаю его!—Ну, так оставьте у себя оба!—какая доброта! Я постараюсь как можно меньше злоупотребить ею. Нет возможности отказаться от любезного приглашения: это будет одной из тысяч завтрашних хлопот. Но это будет наименее приятная.

Примите, М-ле, нежную и почтительную дань уважения.

М.

На обороте: Mademoiselle Роксандре Стурдзе,
фрейлине е[е] в[еличества] императрицы

(6)

[Петербург, 1810 г.]⁴⁷

Гр. де М. имеет честь препроводить М-ле Стурдзе прилагаемые два тома Массильона.

Он пользуется случаем, чтобы присоединить к этому книжку, написанную свыше десяти лет назад, о событиях во Франции. Просьба прочесть ее у себя в комнате и отнюдь не пускать по рукам, так как книжка эта весьма плохая.

Он имеет честь возобновить уверения в почтительной своей преданности.

Суббота, 25-го.

Как видим, три капитальных сочинения, посвященные религии, мистике и политике, были вложены Местром в руки Роксандры. Проповеди Массильона—апология католичества; речи Сен-Мартена—апология иллюминатства; наконец, книжка о Франции—памфлет против революции. Этот последний был его собственным сочинением; это—пресловутые «Размышления о Франции», одно из капитальнейших произведений эмигрантской контрреволюции, вышедшее без имени автора в свет в 1797 г.⁴⁸ Замечание Местра, что книга появилась свыше десяти лет назад, уже доказывает и примерную дату записки. Его просьба о дискретном чтении, под предлогом, что книжка плохая,—самоуничижение паче гордости; в действительности, он похвалялся ею; он считал ее никак не менее значительной, чем остальные упомянутые труды; он находил в ней пророческую зоркость; он любил цитировать ее и сопоставлять с лучшими религиозно-политическими трактатами. В «Санкт-петербургских вечерах» его двойник, Граф, приводит обширную выдержку из этих «*Considérations sur la France*», которые он называет «произведением анонимного автора», в параллель ценному сочинению Дженингса о христианстве⁴⁹. В письме 1814 г. к графу Потоцкому Местр пишет с горделивым удовлетворением: «Я очень хотел бы, чтобы вы прочли сейчас мои «Размышления о Франции», где, по счастливой нелепице, все оказалось пророческим, вплоть до названия двух городов, которые первыми признали короля,—Лион и Бордо. К несчастью, я не могу уже предложить этой книжки в дар; тогда как во Франции ее перепечатывают и повсеместно читают, у меня самого ее нет»⁵⁰. Роксандре, таким образом, он вручал собственный, старый экземпляр, который хранил и оберегал от чужих и небрежных рук.

Из трех классиков церковной кафедры французского католицизма—Боссюэ, Бурдалу, Массильона—последний был пригоднее всего для воздействия на душу, которая считала себя «чувствительной». Боссюэ—громовержец, Бурдалу—доказыватель, Массильон же—уговариватель.

Он пришел последним; он один переступил порог эпохи «короля-солнца» и вышел в восемнадцатый век; он уже дает место новым влечениям; у него впервые есть интимность: он стремится не утратить и убедить, а тронуть. Его новаторство состояло «во введении патетики, более живого и близкого ощущения человеческих страстей, в сдержанность религиозной проповеди,—в легкой растроганности, хотя еще и не размягченности священной речи»⁵¹,—определяет Сент-Бёв; а Поль де Сен-Виктор прямо говорит о «нежном Массильоне»⁵². Сочинения Массильона были модной новинкой 1810 г., когда после полувекового перерыва (1745), наконец,



МОСТИК У КОННЕТАБЛЯ В ГАТЧИНЕ
Картина маслом Семена Щедрина
Историко-бытовой музей, Гатчина

появились первые томы переиздания. Этим определяется и дата местровской записки.

Наконец, Сен-Мартена—alias «*Philosophe inconnu*»—«Неведомого философа», считавшего себя «официальным защитником провидения», можно назвать местровцем до Местра. Вообще говоря, различия между ними велики: один—подлинный иллюминат, чудодей и фантаст, другой—только ритор мистицизма, трезвый пользователь мракобесия. Но в самом злободневном деле, в жгучем вопросе отношения к революции, один дополнял другого и один другого продолжал. «Философская роль Сен-Мартена среди Французской революции, то провиденциальное объяснение, какое он дает ей, с меньшей нетерпимостью и меньшим красноречием, уже предвозвещает и предвосхищает выводы де Местра»,—гово-

рит Сент-Бёв, многократно возвращавшийся к этому наблюдению⁵³ и отметивший, в частности, что основные положения местровских «Размышлений о Франции» уже наличествуют в брошюре Сен-Мартена «Письма друга, или Размышления политические, философские и религиозные о Французской революции», выпущенной в 1795 г., за два года до публикации Местра. «Неведомого философа» Местр знал хорошо. Он выделял его среди иллюминатской братии, которой недолюбливал, ибо,—заявлял он устами Графа из «Санкт-петербургских вечеров»,—«несмотря на то, что в их сочинениях есть вещи истинные, разумные и трогательные», они засорены «идеями и ложными и опасными, особенно из-за неприязни ко всякой церковной власти и иерархии»; однако, Сен-Мартен—«самый знающий, самый мудрый и самый изысканный из современных теософов», «который не только проповедует христианство, но и трудится над тем, чтобы подняться до самых дивных высот божественного закона»⁵⁴. Роксандре, которая выказывала склонность к мистике, Местр не мог бы дать ничего более близкого себе, сохраняющего более прямую связь с политико-религиозными концепциями «Размышлений о Франции», чем сен-мартеновские философствования. Он именует то, что посылает ей, «тремя речами». Это очень неопределенно. В 1802 г. Сен-Мартен издал свой перевод «Трех принципов» Якоба Бёме, который снабдил предисловием; в 1807 г. начало выходить издание сен-мартеновских «Посмертных творений». Но у Местра были и другие возможности. Он сам для себя переписывал нужные вещи. Иллюминаты вообще, и Сен-Мартен в частности, занимали его. «Я много общался с ними, я копировал их писания собственной рукой»,—свидетельствуют за него «С.-петербургские вечера»⁵⁵. Упоминание о примечаниях, которое имеется в местровской записке, делает наиболее правдоподобным, что Роксандре посланы были такие вот собственноручные копии сен-мартеновских вещей; сопровождать выписки своими заметками было у Местра устойчивой потребностью и излюбленной привычкой: «Взгляните, вон там, на огромные томы, лежащие на моем письменном столе,—туда выписываю я все то разительное, что приносит мне чтение; иногда я ограничиваюсь простыми отметками; иногда, слово за слово, выписываю главнейшие отрывки; часто я сопровождаю это кое-какими замечаниями и столь же часто записываю тут же приходящие на ум мысли; это в н е з а п н ы е о з а р е н и я, которые угасли бы бесследно, если бы вспышка их не закреплялась по черком»⁵⁶. Видимо, Местр пообещал Роксандре не только Сен-Мартена, но и свои комментарии к нему, и, выполнив первое, не выполнил второго; впрочем, привычные беседы должны были заменить ей это.

Наконец, третья группа связана с текущими придворными делами и домогательствами. По времени эти записки наиболее поздние: они начинаются 1809 г. и кончаются 1813 г. По содержанию они свидетельствуют о том, что и Роксандра, в своем возрастающем влиянии, и Местр, в своем убывающем влиянии, в эту пору, уравнивешиваясь, дружно служат друг другу где могут и чем могут.

(7)

Вторник, 25-го [Петербург, 1809 г.]⁵⁷

Я считаю отнюдь не лишним, М-Ие, довести до вашего сведения истину относительно того, о чем вы оказали мне честь сообщить третьего дня, дабы дать вам возможность использовать это, когда представится случай.

Французский посол потребовал на-днях ноты «Te Deum», каковые тот-час же, разумеется, и были ему посланы,—и вот на этом-то листе бумаги и построили ту басню, о которой вы мне рассказали. Вот каковы добрые друзья, M-lle,—судите же, что стали бы они говорить, будь тут, в самом деле, хоть тень ошибки.

Примите, M-lle, уверения в полном моем почтении.

Гр. де М.

На обороте: Mademoiselle Роксандре Стурдзе,
фрейлине е[е] в[еличества] и[мператрицы]

Таким образом, Роксандра предупредила друга о неблагоприятных толках, дошедших высоко, относительно некоего столкновения с французским послом, где замешано было имя Местра. А он дает ей для противодействия свою версию происшествия, которую и просит при okazji довести до слуха высочайших особ. Повидимому, инцидент состоял в помехе, какую пытались оказать католические круги Петербурга, с Местром во главе, затее могущественнейшей персоны дипломатического корпуса, наполеоновского посла Коленкура: он решил отслужить торжественный благодарственный молебен по случаю очередной победы, для чего понадобились ноты «Te Deum», и встретил было отказ от петербургского католического духовенства, вызвавший его раздражение и немедленно осужденный при дворе. В итоге, противники поторопились сложить оружие, и молебен во славу Наполеона был в Петербурге отслужен. Когда и по какому случаю это могло быть? Победа должна была быть не рядовой, а настолько значительной, чтобы стоило чужую столицу оглашать «Te Deum»'ом; далее, она должна была прийтись на ту пору, когда в Петербурге такое публичное французское торжество было общественно уместно и политически выгодно; это всего прямее ведет к 1809 г., к Ваграму, к оккупации Вены, когда разгром австрийцев сдержал возобновившиеся было после Эрфурта колебания Александра между франкофильской и антинаполеоновской политикой и когда затея Коленкура должна была служить демонстрацией продолжающейся прочности наполеоно-александровского союза, столь ненавистного русской «старой партии» вообще, Местру и иезуито-католическим петербуржцам особо, а по такому поводу—тем более.

А вот образцы хлопот Местра по роксандровским затеям. Все три его записки надо датировать одним временем, ибо они относятся к одному делу и следуют непосредственно одна за другой.

(8)

[Петербург, 1813 г.]⁶⁸

Человек предполагает, а бог располагает, M-lle,—я твердо рассчитывал, что буду иметь честь вчера провести вечер с вами; но неодолимое препятствие помешало мне. Поэтому беру перо, дабы передать вам, что сказал обер-гофмаршал⁶⁹, а именно: он не сомневается в том, что ваш молодой албанец получит назначение в том самом доме, где он живет (как вы того и желали); более того, он обещал мне возобновить свои представления е[го] в[еличеству] и точнее пояснить ему, о чем именно ходатайствуют перед ним.

Завтра, если не будет эрмитажного собрания⁶⁰, я надеюсь иметь честь увидеть вас.

Примите, М-ле, чувства полнейшей преданности.

Среда, 3-го.

На обороте: Mademoiselle Роксандре Стурдзе,
фрейлине е[е] и[мператорского] в[еличества]

(9)

[Петербург, февраль 1813 г.]⁶¹

Тотчас по получении вчерашней вашей записки, М-ле, я написал графине Т[олстой]⁶², чтобы получить желаемое пояснение.

Она немедленно переслала мою записку мужу, который ответил запиской, при сем прилагаемой. Вы усмотрите из нее, что имп[ератор] оставляет пока известную неясность, ибо так ему благоугодно. В то же время, он как будто определенно решил дать то или иное назначение молодому человеку. Я не преминул вечером побывать у графини, дабы передать вам написанное, но не застал ее дома. Я счел проявлением присущей вам вежливости указание, которое дал мне швейцар, что вы находитесь у гр. К. Я поспешил туда, но не был принят. Брат мой пускается в путь в эту самую минуту, я же одеваюсь, чтобы отправиться утешать бедную С[офи]⁶³.

Ваш преданнейший сл[уга] и друг

М.

(10)

Пятница утром, 29-го [Петербург, 1813 г.]⁶⁴

Спешу сообщить вам, М-ле, что наше ходатайство о юном вашем протеже увенчалось успехом. Император велел г. Вилье доложить ему о состоянии здоровья несчастного и в итоге решил, что можно вполне быть офицером и без руки,—значит, он им и будет.

Я даже не думаю, что это назначение окажется ограниченным офицерством внутренней службы покоев; но это представляется мне маловажным.

Я много размышлял о том, что вы вчера сказали мне. Пусть будет так! Не знаю почему, я боюсь этого пути; все же надо сделать попытку, ибо момент благоприятен. Ежели это дело не удастся, я все-таки думаю, что надо будет прямо приступом брать другое.

Берегитесь, прошу вас, хоть как-либо и что-либо говорить Софи⁶⁵ о той вещи, которую я рассказал вам вчера при расставанье, ибо не следует, чтобы все эти толки и пересуды шли по рукам. Да пошлет вам, М-ле, судьба то, чего вы достойны. Я тут всегда буду доволен лишь отчасти, ибо никогда не получите вы всего того, чего бы мне хотелось.

Благоволите принять мой нежный и почтительный привет.

М.

Кто этот потерявший руку молодой албанец, о котором хлопотала Роксандра, мы не знаем. Можно лишь предположить, что это был один из балканских княжичей, раненный в какой-то схватке с турецкими войсками и бежавший в Россию, в гнездо будущих главарей Гетерии,—своего рода подобие безрукого Александра Ипсиланти, тоже делавшего первые шаги своей карьеры в родственном окружении Стурдза. Так или иначе,

все три местровские записки красноречиво свидетельствуют, каким усердным толкачом роксандровых хлопот был Местр в эту пору, когда сама Роксандра только входила в фавор и была еще маловлиятельна, и с какой интимной доверительностью уже относился он к ней. Это совсем не было у него правилом: его предостережение Стурдзе против откровенности со Свечиной говорит о том, что близость идейная и близость личная для Местра не совпадали. Местр часто и зло ворчит на Свечину: послушная и прямая ученица, в недалеком будущем живое олицетворение успехов его католической пропаганды, была менее близка и менее нужна ему, чем уклончивая Роксандра.

В неопубликованном эдлинговском архиве дальше идет группа писем. По времени они почти прямо продолжают серию записок. Первое из них надо отнести к 1810 г.: установить это позволяет шутка Местра о «молдаванке 24 лет» — указание, ведущее непосредственно к названной дате.

(11)

[Петербург, 1810 г.]⁶⁶

Угадайте, M-me, что приключилось со мной нынче утром! Я проснулся в несомненной лихорадке, не покинувшей меня и посейчас. Я решил было свериться с моим секундомером, но он удостоверил мне, что пульс мой дает 108 ударов в минуту, что показалось мне способным возбудить соперничество у некоей молдаванки 24 лет. Пока я размышлял об этом небольшом расстройстве, *sdraiato nella poltrona* [растянувшись в кресле], — неожиданно приходит ваша записка. Экая развращенность у века и экая смелость у женщин, желающих во всем действовать по-мужски! Скоро они станут наводить пушку или рассуждать о врожденных идеях. Такова, однако же, слабость человеческая, что я был не мало польщен той крайней легкостью, с какой вы уразумели



И. КАПОДИСТРИЯ
Рисунок О. Кипренского, 1819 г.
Русский музей, Ленинград

это. Во всех вопросах у меня лишь два притязания, и прежде всего,— поверите ли?—не быть правым, т. е. побудить благосклонного слушателя знать то, о чем он говорит. Мне кажется, что в этом отношении я дело упорядочил, и я еще надеюсь услышать от вас, что вы-то, по крайней мере, хорошо знаете, что отрицают другие и что утверждаю я.

Как только я увидел, что эта наглая лихорадка овладевает мной, я тотчас же сказал себе: «Когда придет пора, я подам знак лекарю этих мусульман». Не тут-то было! Они спешат уйти, как неистовые христиане, которым ненавистен покой. Что ж, пусть так, M-lle,—буду болеть по собственному разумению!

Есть большое счастье в том, что последовательное размышление иногда превращается в чувство. Это одна из тех вещей, которые находишь, но которых не ищешь. Именно это-то и приключилось со мной в отношении маленькой девочки, которая отнюдь не умерла.

Я весь у п о т е л, как выражаются в Италии. Не кажется ли вам, что от этой бумаги несет лихорадкой? Я приношу бесконечную признательность вашей превосходной матушке за очаровательное предложение, какое она мне делает,—прошу хорошенько заверить ее, что если ради чего-либо я и готов изменить моим восточным навыкам, то как раз ради возможности пожить немного под кровом, где я нашел бы всё, что может сделать для меня общество приятным. Пока же я разыскиваю среди своих бумаг точную опись всей мебели, посуды и домашних вещей, которыми пользуюсь в П[етергофе]*, дабы вы могли сообразоваться с этим. Не бойтесь, пожалуйста,—ничто не оскорбит ваших глаз,—так далеко простирается тут деликатность.

Ну, можно ли балагурить в лапах лихорадки?

Прощайте, M-lle! Примите и передайте матушке выражение моего нежного и почтительного внимания. Тысячу пожеланий любезной Елене и тысячу дружеских «аспазисмов»⁶⁷ братцу вашему.

В[аш] ниж[айший] и посл[ушнейший] сл[уга] и преданный друг

М.

Следующее письмо—обыденное, но содержательное. Между ним и предыдущим—примерно полгода разницы. Отнести его нужно к самому началу 1811 г. Эта дата явствует из упоминания о ранении младшего брата Местра, Ксавье, перешедшего в июле 1810 г. снова на действительную военную службу и отправившегося в чине полковника квартирмейстерской части на Кавказ; ранен он был в Грузии в середине ноября 1810 г.

(12)

[Петербург, январь 1811 г.]⁶⁸

Уже половина одиннадцатого, M-lle,—так что я могу без дерзости считать, что вы проснулись и даже встали. Вследствие этого приемлю смелость препроводить вам прилагаемую рукопись, о коей не говорю вам ничего, дабы не повторять предисловия. Я обещал прочесть кое-что из нее одной особе, которая больна. Пока же, сделайте милость, читайте, я лишь оставляю за собой ваше разрешение истребовать ее обратно, буде окажется в н у ж д е н к этому.

* Примечание, сделанное рукой Р. С. Эдлинг: «Шутка, относящаяся к пребыванию гр. де М[естра], против обыкновения, за городом, где хозяева предоставили ему помещение, лишенное всего, кроме четырех стен».

Я получил письмо от брата, которое мало чем порадовало меня. 19 декабря, через 32 дня после ранения, воспаление не уменьшилось, понадобилось вскрытие. Хирурги были не единодушны. Один твердил, что повреждено сухожилие, другой—что надкостница. Он мне повествует обо всем этом так, словно речь идет о постороннем. Мне сдается, и я не сомневаюсь в этом, что у него смутная жажда смертельного исхода; радует меня лишь то, что, по крайней мере, три-четыре месяца он все же будет вынужден путешествовать лишь вокруг собственной комнаты⁶⁹, где пушки стреляют весьма мало.

Я зол на С[офи], которая причиняет нам столько неприятностей своим неумением разбираться в нас. Непозволительно так плохо уметь ч и т а т ь. Знаете ли, М-Не, после вас мне пришли в голову самые сумасшедшие подозрения, что она кому-то позволила наговорить себе, будто мой малыш Р[одольф] злословил на ее счет. Поистине еще далеко до того, чтобы все черти были в аду. По счастью, есть еще и ангелы на этом свете; потому-то, когда случается мне встретить одного из них на своем пути, я тотчас же приемлю честь делаться со всем доверием и почтением его нижайшим и покор[нейшим] слугой

М.

Так как я не питаю излишнего доверия к господам лакеям, то разрешите просить вас о простом уведомлении: п о л у ч и л а,—ничего больше. Поскольку прилагаемый манускрипт совершенно неизвестен, очень прошу вас не выпускать его из вашей комнаты.

Ворчание на Свечину становится у Местра, как видим, уже привычкой. Не трудно догадаться, чем оно вызывалось: в ее характере было свойство, которое отличало ее в делах принципиальных, но делало ее нелегкой в общении,—она была прямолинейна; однажды взяв направление, она шла, не сворачивая и не колеблясь. Это было хорошо для ее католического прозелитизма, которому Местр содействовал даже специальными «писаниями для соседки»⁷⁰, как иногда он называл ее,—и недаром через три десятилетия, в конце 1830-х годов, парижский салон Свечиной, куда заглянет путешествующая графиня Эдлинг, будет одним из устоев французского ультрамонтанства и вызовет целую хвалебную литературу иезуитов и папистов⁷¹. Но эта же доверчивая ограниченность доставляла не мало докуки každодневым друзьям и знакомцам, когда можно было, при желании, вкось и вкривь толковать их слова и поступки. О какой рукописи идет речь в этом письме? Явно, что это—новинка, начинающая путешествие по первым читателям, сначала близким, надежным, как Роксандра, на которых проверяется впечатление, а затем—по более дальним, чужим, менее благожелательным, полуравнодушным, а то и враждебным завсегдатаям петербургских салонов⁷². Такой местровской новинкой должны были в эту пору явиться пресловутые «Пять писем об общественном воспитании в России». Местр писал их как раз в 1810 г.⁷³ Они были отмечены особой политико-религиозной заостренностью; их поводом было предположенное учреждение Царскосельского лицея, их методом—нападки на «развратный либерализм» проекта лицейского устава, составленного Сперанским, их целью—пропаганда благонадежной иезуитской системы воспитания, их официальным адресатом—министр народного просвещения Разумовский, а в действительности, конечно,—сам царь. Просьба о тайне была неизбежна: довременное разглашение грозило

неприятностями, поскольку тут начиналась кампания против Сперанского, и пером Местра «старая партия» давала бой уже ослабленному, но еще не сваленному фавориту.

Между этим письмом и очередным неопубликованным—четырёхлетний промежуток. Следующее письмо носит пометку ноября 1814 г., сделанную рукой самого Местра. На четыре прошедших года приходится не только величайшие международные потрясения Отечественной войны и последней борьбы коалиции с Наполеоном, но и решительные перемены в личной значимости обоих корреспондентов. Местр достиг зенита своего влияния на русские дела, добился преобразования Полоцкой коллегии иезуитов в академию, побывал в советниках и секретарях царя и т. д. Однако, сроки для этого ему были даны короткие, меньше года,—примерно с октября 1811 г. по май 1812 г. Дальше наступило ослабление, а с Отечественной войной и крах местровского фавора. Императорскому окружению он теперь мешал, «старой партии» он делался неудобен⁷⁴, его военные советы были неуместными, его дипломатические притязания раздражали, его иезуито-католицизм казался тем вреднее, что православие стало орудием возбуждения патриотического подъема крестьянских и солдатских масс. Наоборот, для Роксандры—это время личного сближения с царем, первых опытов прямого влияния на ход дел. На нее уже возлагаются негласные высочайшие поручения, требующие тонкости и такта, например, рассеивать среди светского общества неблагоприятные для царя слухи и толки⁷⁵; именно теперь начинается обработка Александра в фило-эллинском духе, дабы заручиться его содействием на восстановление греческой независимости в случае пересмотра мировой карты, причем Стурдза действует доводами чувствительности, а ее друг Каподистрия—резонами политики; царедворцы уже выдвигают Роксандру, когда хотят сделать приятное монарху: «Выбор пал на меня, ибо знали, что император питает ко мне предпочтение»⁷⁶,—обмолвилась Стурдза в «Записках» об одном из таких случаев.

Взаимная перемена положения в высоких сферах могла не нарушить личной дружественности между Местром и Роксандрой, но она должна была еще более ограничить ее пределами частного общения, установить запретную зону в обсуждении русских дел, царских действий и т. д. Былые единомышленники уже расходились, и постепенно накапливалось то, что несколько лет спустя привело к разрыву. В ближайшие два года неравенство их положения в свете еще выросло. Стурдза считала, что она близка к официозности своего фавора. Для Местра же подошло время заключительных неудач в России: обозначилась и стала разрастаться кампания против иезуитов, закончившаяся их декларативным изгнанием и собственной его вынужденной отставкой и отъездом за границу. Но в его продолжавшейся корреспонденции со Стурдзой ничего этого, конечно, нет,—ни в письмах 1812 г., ни, тем более, в письмах 1813—1815 гг.

Ближайшее неопубликованное письмо из эдлинговского архива мало что меняет в таком положении. Собственно, только одно упоминание связано с темой более широкой значимости,—это слова о «последнем философском произведении» Местра, которым Стурдза «осталась довольна». Речь идет, видимо, о трактате против конституций: «*Essai sur le principe générateur des Constitutions politiques*», который в 1814 г. был выпущен сначала в Петербурге, а затем переиздан в Париже вместе со старым памфлетом: «*Considérations sur la France*». Местр считал его появление поли-



ИСААКИЕВСКИЙ МОСТ В ПЕТЕРБУРГЕ
Акварель Максима Воробьева
Русский музей, Ленинград



ВИД НА ТАВРИЧЕСКИЙ ДВОРЕЦ С ПРОТИВОПОЛОЖНОГО БЕРЕГА НЕВЫ
Гравюра Лори с картины Б. Патерсена, 1804 г.
Русский музей, Ленинград

тическим событием и ждал почетного внимания монархов вообще, и Людовика XVIII, в частности, но выход «Essai» был сочтен ударом по конституционной хартии, подписанной королем в июне этого же года, и Местр не только не получил награды, но самая возможность его роли при реставрированном Бурбоне была пресечена. Это ноябрьское письмо к Стурдзе в Вену, в пору конгресса, таково:

(13)

С.-Петербург, 18/30 ноября 1814 г.⁷⁷

Давно не получая вестей от вас, М-lle, я уже взялся было за перо, дабы напасть за это на вас, когда вдруг получил милое ваше письмо от 7-го числа. Я с бесконечным удовольствием прочел его. Все ваши описания сделаны рукой мастера, но особенно потешило нас—нашу милую приятельницу и меня—то место письма, где вы говорите об этих людях, которые не хотят ни вальсировать, ни бесноваться⁷⁸; они, в самом деле, достойны жалости, разве что у них столько же ума и здравого смысла, как у вас. Впрочем, я запомню это, и ежели когда-либо меня обуяет прихоть убить вас, то неизбежной подготовкой этого будет понуждение вас плясать до упаду. По правде говоря, сам я уже слишком отяжелел для вальса, но я попрошу Родольфа, а для себя приберегу только удар кинжалом,—согласны?

Тысяча благодарностей, М-lle, за ответ, которого вы не дали, на вопрос, которого я не задавал,—уррра! Если то, о чем вы мне не говорите, правда, то я—довольнейший из людей⁷⁹.

Если вы не встретили моего гарема в Вене, то потому, что, по глубокой мудрости своей, он проследовал через Берлин. Я увидел его у себя 11/23-го минувшего октября, в сопровождении *sapigi barchi* Родольфа, который покрыл себя славой, привезя мне свою мать и сестер после того, как взял Париж. Правда, в этом последнем предприятии ему в помощь был император российский, но союзники нисколько не умаляют славы главной державы. То, что я рассказал о вас жене, заставило ее весьма одобрить мою страсть к вам. Таким образом, этот вопрос решен. Но нужно еще, М-lle, чтобы вы были добры полюбить мою Адель. Вы обещали мне это вполне определенно. Так что на это я окончательно рассчитываю. Она, в свою очередь, получила соответствующие наставления. Я уверен, что она очень полюбит вас. Возвращайтесь же, скорее возвращайтесь, М-lle, в патриархальный наш кружок.

Итак, вы до известной степени остались довольны моим последним маленьким философским творением? Ваше одобрение преисполняет меня гордости, ибо я очень ценю его. Мне было, признаюсь, весьма приятно разбивать протестантский принцип молотом Платона⁸⁰; некий Зонтаг, суперинтендент лютеранской церкви в Риге, написал в местной газете, что у автора произведения (имени которого он и не подозревал) нет ни ума, ни характера. Я чуть было не умер со смеху от такого суждения. Ла Сансе⁸¹, которому я дружески послал эту работу, был много менее хладнокровен. Он сказал мне:—Знаете ли вы, что это выглядит очень серьезно?—в самом деле, нет ничего более серьезного!

Я не верю, наконец, М-lle, что уже не от вас зависит доставить моему произведению ту честь, о которой вы мне говорите. Может быть, я весьма

ошибаюсь, но только мне сдается, что оно уже пользуется ею,—я лишь не знаю, каковы суждения об этом.

Как радуется меня, М-Иле, что вы соединились со своим почтенным семейством. Судя по вашему молчанию относительно батюшки, я не вполне уверен, что мне говорили правду, когда уверяли, будто ему несравненно лучше⁸². Напомните, пожалуйста, обо мне всем этим достойным людям, которых я весьма ценил бы и в том случае, ежели они не были бы связаны с вами. Брат мой здесь, возле своей жены, ждущей с минуты на минуту разрешения от бремени. Она уже не покидает постели, по предписанию доктора Лейтона. Все ваши поручения к княжне Шаховской будут мною выполнены.

Возвращайтесь скорее, М-Иле, дабы я смог вас убить расспросами. В ожидании же благоволите изредка вспоминать обо мне и удостоверять мне это, даже если вы вполне убеждены в своем благорасположении ко мне. Вам ведомы, М-Иле, чувства почтения и преданности, кои я посвятил вам на всю жизнь.

М.

Через полгода Местр послал из Петербурга еще одно письмо (оно опубликовано, и надо лишь восстановить его дату, оставшуюся неизвестной: 16/28 июля 1815 г.)⁸³, где снова спрашивал о приезде и выражал нетерпение «возвратиться к беседе за круглым столом, где чай будет подан лишь для приличия... чего-чего только вы ни расскажете нам, и что за удовольствие будет слушать вас!..». Роксандра вернулась в Петербург вместе с императрицей в конце года, но призывам Местра суждено было оказаться риторикой. Стурдза вернулась не той, какой уехала, и иной, нежели казалась издалека. Их отношения изменились. Его собственное опальное положение после иезуитского скандала сыграло в этом такую же роль, как и личная ее беда. Восемьсот пятнадцатый год оказался для нее переломным. Он сначала подвел было ее к вершине величия, а затем обернулся крахом. Ее близость к царю считалась удостоверенной; Елизавета Алексеевна не скрывала ненависти; Роксандра уже не отказывала себе в тщеславии оповещать об этом доверенных лиц и сообщников, вроде новоприобретенной подруги, баронессы Крюденер: «... Случай открыл мне скрытое отвращение, какое я внушаю г-же Блюм. ... Что касается моих отношений с Блюмом, то я хочу положиться на бога,—да будет воля его. Я решила не избегать Блюма, опасаясь клеветы, и, вместе с тем, не стану предупреждать его ни о чем»⁸⁴,—писала она в конце октября 1815 г.; имена «г-жи и г. Блюма» шифровали собой царственную чету. Однако, Александр I—«в лице и в жизни Арлекин», как написал Пушкин,—не был бы самим собою, если бы изменил для Роксандры своим навыкам. Собственно, первое предупреждение ей уже было дано в пору Венского конгресса, когда «Блюм» вдруг заговорил о ее замужестве и вызвался быть сватом к Каподистрии⁸⁵. А спустя год, когда реставрация была упрочена, Священный союз монархов учрежден и надо было возвращаться в Россию,—Стурдза на деле убедилась, каковы следствия того, что она называла существом характера Александра: быть, не подавая виду («être sans paraître»)⁸⁶; она оказалась со всеми своими политическими и личными притязаниями так же вынесенной за скобки, как и ее ставленица, Крюденер; и если, обосновывая удаление «пророчицы», царь иносказательно говорил, что принял за божье пламя болот-

ный огонек, то Елизавета Алексеевна жестче и злораднее заявляла, что фрейлина Стурдза утратила доверие, ибо злоупотребляла царской добротой⁸⁷.

Роксандра запомнила слова Александра о «замужестве вне России» и с привычной бесшумностью переменяла фамилию, ранг и подданство и стала супругой маленького министра иностранных дел маленького германского герцогства. В это переходное и труднейшее время она поддерживала связи только с близкими. Местра она уже не числила своим. Она не писала ему вовсе. Он молчал тоже. Каждый врозь нес выпавшую опалу. Только в самый канун отбытия из России Местр, печальный, томимый предотъездными хлопотами и предчувствиями⁸⁸, оживил в себе воспоминания давней дружбы и написал новонареченной графине Эдлинг, в Веймар, прощальное письмо. Это—последнее его обращение к Роксандре вообще, и последнее из неопубликованных его писем к ней.

(14)

С.-Петербург, 11/23 мая 1817 г.⁸⁹

Графиня,

С тех пор, как вы переменяли имя, я перестал писать вам. Если вы спросите меня—почему, мне будет очень трудно ответить. Какое-то общее отвращение к житейским делам, заботы, докуки разного рода не приметно погрузили меня в некую апатию, в которой, по несчастию, есть своеобразная прелесть. К ней привыкаешь понемножку, и вот становишься совершенным глупцом, прежде нежели успеешь спохватиться. И все же, графиня, несмотря на мое о ц е п е н и е, вы никогда ни на миг не выходили у меня из сердца и памяти; и в эту минуту, когда мне предстоит покинуть ваше прежнее отечество, мне думается, что я должен проститься с вами, как если бы вы жили в соседнем доме. Излишне говорить вам, графиня, насколько я и вся семья моя разделяем страшное горе, поразившее ваш дом⁹⁰. Почтенная матушка ваша, в ком доброта не исключает силы, как всегда, покорная и, как всегда, мужественная, словом, не изменяющая себе, была предметом всех наших мыслей и нашего внимания. Я уезжаю, но ни время, ни расстояние не могут принудить меня забыть столь дорогих друзей. В свой черед, графиня, я счел бы себя б е д н я к о м, ежели бы оказался вычеркнутым из вашей памяти. Я буду всегда числить в ряду драгоценнейших воспоминаний столько очаровательных бесед, где я постоянно встречал сильнейший ум, соединенный с начитанностью нашего пола и с прелестью вашего. Так как вы тысячекратно проникали мне вглубь сердца, я надеюсь, что вы не обнаружили там ничего, что могло бы помешать вам думать обо мне. Я не сомневаюсь, графиня, что вы обрели счастье в н а ш е м п о л о ж е н и и. Я не раз твердил, что в ы р о ж д е н ы б ы т ь с у п р у г о й. Никто в этом не может быть убежденнее меня, кроме графа Эдлинг. Не знаю, заблуждаюсь ли я, но мне кажется, что я не могу быть совсем чужим человеку, который имеет честь знать вас так близко. Поэтому прошу вас, графиня, форменным образом п р е д с т а в и т ь м е н я е м у, ибо мне не хотелось бы оставаться незнакомцем для вашего дома. Вы как-то сказали мне, если не ошибаюсь, что граф Эдлинг как будто—уроженец итальянской Швейцарии. В таком случае, вам, по совести, нельзя будет, раньше или позже, не отвезти его в родные места, а когда вы там окажетесь, вам будет стоять лишь чуть-чуть подать голос, чтобы я вас услышал. Я тешу себя этой мыслью, ибо не могу при-

мириться с тем, что уже не доведется больше видеть этой превосходной Роксандры, коей я был неизменным поклонником. Е[го] и[мператорское] в[еличество] соизволили разрешить мне отправиться на одном из судов флота, который он посылает во Францию, и эту милость он сопроводил кое-какими восхитительными добавлениями, в своем духе⁹¹. Так как заместитель мой еще не прибыл, то императору благоугодно, чтобы я передал на время дела моему сыну, который несколько месяцев тому назад начал или возобновил службу у короля в чине подполковника генерального штаба⁹². Такое непредвиденное обстоятельство, как отбытие флота, забрасывает меня в Париж—город весьма известный и, однако же, долженствовавший, судя по всему, остаться мне неизвестным. Такова моя повесть, графиня, которая вызовет у вас, надеюсь, некоторое внимание. Соболаговолите через месяц-два дать мне знать в Турин, что письмо это дошло до вас и что почерк вы узнали. П о м н и т е всегда, что я буду помнить всегда покойную М-ле Роксандру и что, не будь графини Эдлинг, у нее не было бы равных в моей душе. Я не хотел бы ничего иного, как только делить ваше счастье, но, увы, провидение бьет направо и налево, и никто не изъят из его отеческих поучений. Прошу графа благоволить принять мои приветствия, как только вы представите меня ему.

Тысячу раз прощайте, графиня,—не откажите сохранить навсегда мое имя на ваших табличках; вы же записаны на моих неизгладимыми буквами. Благоволите принять искренние уверения высокого уважения и почтительной привязанности, с коей остаюсь на всю жизнь, графиня, вашим нижайшим и покорнейшим слугой
графом де Местром

Адрес мой, впредь до изменений, таков: е[го] с[иятельству],—поскольку сиятельства существуют,—г. гр. де М., [кавалеру] большого креста св. Маврикия и св. Лазаря, первоприсутствующему Верховного суда е. в. короля Сардинии.

В обычных обстоятельствах трудно было бы не ответить на такое прощальное письмо; его скорбная задушевность и его важная шутливость, столь отличная от бывшего балагурства, должны были бы вызвать должный отклик. Но его нет; по всей видимости, Роксандра Скарлатовна продолжала молчать; нет ни ее письма, ни упоминаний о нем в собственных ее примечаниях к переписке или в «Мемуарах». Она замкнулась вообще, для Местра — в частности. Можно считать, что она не желала поддерживать связей с ним; она писала брату⁹³: «Мне сообщают, что граф де Местр вышел в отставку и получил назначение на родине. Я очень довольна; этот человек, такой вредный и бесполезный в России, еще может сделать много хорошего в собственной стране»⁹⁴. Нужна была давность двух с половиной десятилетий, чтобы уже незадолго до смерти, отбирая письма для передачи в издательские руки, графиня Эдлинг погрузилась в прошлое, взвесила его и предпослала местровским посланиям скупое предисловие, где помянула о «благодарной дружбе, которая тщательно сберегла их».

II

Для этого понадобилось путешествие в Париж, которое она совершила, уже незадолго до своей смерти, зимой 1839—1840 г. Она была еще не

так стара—ей шел пятьдесят четвертый год, но она уже не видела для себя дела в жизни. Она была теперь «une déracinée»—существом без корней: по мужу и подданству—веймарка, по политическим интересам—гречанка, по хозяйствованию и доходам—русская. Она жила везде по недолгу: в Веймаре, в Италии, в Вене, в Одессе, в бессарабском своем поместье Манзыре и т. д.

Это было не от «охоты к перемене мест»,—новое время обращалось с ней неласково; оно не оставляло ее в покое: убийство Коцебу погнало ее прочь из Веймара, ибо она была связана с убитым российским агентом и испугалась; из Италии ее выбросил страх перед разразившейся революцией 1820—1821 г.; Вена заподозрила в ней русскую шпионку, и Меттерних взял ее в кольцо собственных наблюдателей; в России ее ограничили ролью провинциальной помещицы⁹⁵. Она не теряла природной бодрости, но жить было неудобно. Она не утратила широты интересов и ясности ума, но как бы воспринимала всё издали. Настоящее становилось лишь материалом для сравнения с прошлым. Она еще хотела знать, что нового на свете, но живое чувство отдавала воспоминаниям. Она кое-что написала сама, кое-что подобрала для печати в семейном архиве и еще охотнее предоставляла свою память и свои бумаги тем, кто вместо нее мог бы воздать хвалу ее эпохе и ее героям. Тут время шло ей навстречу: конец 20-х—начало 30-х годов были наводнены «литературой итогов»—первым разливом воспоминаний о революции и империи, мемуарами царедворцев, маршалов, депутатов, дам, полицейских, лакеев. Она не закрывала глаз и на новые явления, такие, как сен-симонизм, но воспринимала его по-стариковски; она читала о нем книги, но вычитывала в них то, что обращало ее к прошлому, а не к будущему. Типические черты современности отталкивали ее. Антиклерикальные неистовства Ламеннэ вызывали у нее слова возмущения, а вольности дебатов французского парламента шокировали. Ее размышления о сен-симонизме очерчивают границы того, что было ей доступно; в январский дневник 1835 г. она записала: «Я только-что прочла книгу, наводящую на размышление. Это—доктрина сен-симонизма»⁹⁶. С какой легкостью выносит мир свои суждения, даже не зная того, о чем он судит... Всё, что я прочла до сих пор, свидетельствует, что их учение—христианское. Если бы сен-симонисты, вместо того, чтобы опираться на существо почти мифическое (ибо, кажется мне, они сами не очень-то добросовестны по отношению к своему так называемому «учителю»), попросту придерживались евангелия в его первоначальной простоте, учение их упрочилось бы и распространилось; они стали бы понятными массам, и вся эта видимость шарлатанства исчезла бы. Ибо их стремление к миру, учение о прогрессивном развитии человеческого рода, отречение от наследования богатств как нельзя более согласуется с духом евангелия»⁹⁷. В такой характеристике сен-симонизма исчезало самое важное и новое,—графиня Эдлинг усмотрела в нем только давно знакомое ей гернгутерство, «крюденовщину», в ее второй, социально-уравнительной, демократически-опозиционной ипостаси.

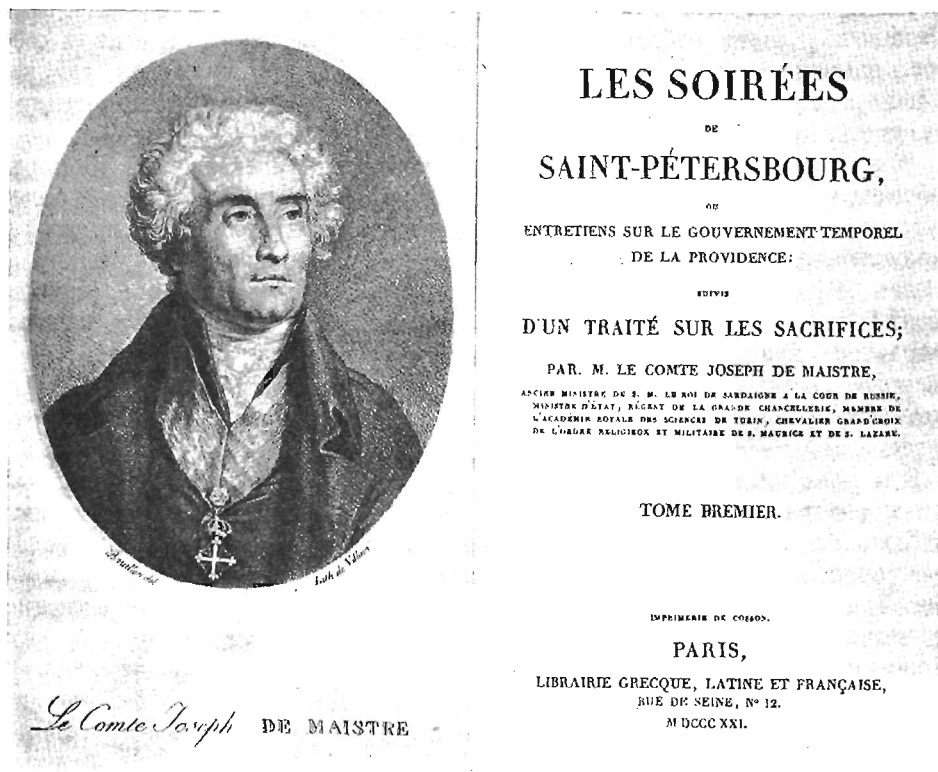
К прошлому она относилась не так. Тут она боролась с тем, что ей представлялось искажением или умалением. Она отваживалась поправлять даже таких нетерпимых летописцев, как Шатобриан. Когда вышел его «Веронский конгресс», она тотчас же взялась за перо. Ее послание свидетельствует, что она чувствовала себя как бы официальной предста-

вительницей тех, о ком и за кого говорила, живой ответчицей за безмолвных мертвых. Она сочинила обширное письмо,—приводить его целиком нет надобности, хотя оно и не опубликовано; оно легко поддается сокращениям, без утраты существа и оттенков. Вот, в извлечениях, то, что она написала:

«Как ни утомлены вы, несомненно, сударь, выражениями внимания современников, позвольте всё же мне льстить себя надеждой, что вы не отведете глаз от этих строк, продиктованных тем же чувством. Это свидетельство почитания, столь же чистого, как и искреннего, направлено к вам из самой глубины России женщиной, которая давно уже испытывает безграничное восхищение перед вашим гением и вашим характером—перед всем, что ставит вас выше прочих людей. Каждое новое творение, выходящее из под вашего пера,—счастливое событие в моей жизни... Тысячекратно испытывала я искушение написать вам, говорить с вами. Ваша душа проникла до пустынных пространств Новороссии... Боязнь быть назойливой удерживала до сих пор меня, но, читая «Веронский конгресс», я нашла повод дать удовлетворение своему желанию, и вот использую его. На тех прекрасных страницах, где вы говорите об Александре, передо мною вновь возникла великая душа, которая ныне молится за нас в месте успокоения своего. При его дворе, близ императрицы Елизаветы, вместе с ними, я пережила великую эпоху, за которой последовало столько горьких разочарований. Я обязана во имя истины, которая вам дороже всего, исправить несколько ошибок, вкравшихся в ваше великолепное описание. Император Александр никогда не был атеистом,—совсем наоборот, он с детства был проникнут живейшим чувством любви и почтения к божеству... Г-н де Лагарп, наставник его, человек искренний и добропорядочный, всегда щепетильно воздерживался от влияния на веру своего юного питомца. Последний, увлеченный потоком мирских страстей, испытал потребность в утешениях религии лишь в пору наполеонова нашествия на Россию... Но никогда Александр не чувствовал склонности к римской церкви. Католическая религия была ему дорога, как религия христианская, но он осуждал свойственную ей нетерпимость... и был весьма далек от веры в непогрешимость римской церкви. Во время последней своей болезни, в присутствии императрицы, ни на мгновение не покидавшей его, он исповедался и причастился по обряду православной веры... Когда его бессильные руки складывались для молитвы, императрица поддерживала их... Так в долгие дни болезни они соединяли руки и молитвы и вместе возносили их к тому, кто призывал их к себе. Этих скорбных и верных образов нет в вашей картине, сударь, но если, как я жду, когда-нибудь суждено выйти второму изданию «Веронского конгресса», может быть, им там найдется место и я смогу тогда переслать вам небольшое сочинение, содержащее верный и обстоятельный рассказ о мрачных сценах Таганрога. Я там была, я приняла слезы императрицы...⁹⁸. О, если бы я могла надеяться на это,—с какой радостью поспешила бы я сообщить вам ворох данных и сведений, которыми располагаю... Простите, сударь, за длинное это письмо. Если бы вы могли пожертвовать для меня несколькими минутами вашего драгоценного времени, на которое, уверяю вас, я еще скупее вас самого,—направьте мне ответ ваш...»⁹⁹.

Ответа Шатобриана в бумагах Эдлинг нет; письмо вообще было не из тех, на которые он отвечал,—предложение сотрудничества неловко отте-

няло решительность поправок. Впрочем, нет уверенности, послала ли ему Эдлинг написанное. Можно предположить, что она отложила отправку и захватила послание спустя год с собой в Париж, как захватила рукопись своих «Мемуаров» и то описание «таганрогских сцен», о котором сообщала Шатобриану. Знаменательны для ее настроений и занятий упоминание о ворохе собранных материалов и готовность их представить. Значит, она уже привела их в порядок. Она спешила доверить их не только знаменитому писателю, но и любому, даже начинающему, кто мог бы использовать ее память и ее бумаги для рассказа о временах



ФРОНТИСПИС И ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ПЕРВОГО ИЗДАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИХ ВЕЧЕРОВ» ЖОЗЕФА ДЕ МЕСТРА, 1821 г.

и людях, которых она считала своими. Именно в эту пору молодой Шарль Эйнар, известный ей по дяде его, швейцарскому банкиру Жану Эйнару, фило-эллину, финансовому советнику и другу Каподистрии, вел с ней переписку, записывал ее рассказы, получал копии ее архива и использовал ее рекомендации для составления крюденеровской двухтомной биографии, где и ей самой было отведено место; и в эту же пору Сент-Бёв, встречи с которым она искала в Париже, запоминал ее повествования о петербургской жизни Жозефа де Местра, уже соблазнялся мыслью дать первую публикацию его интимных писем к ней и выслушивал ее рассказы о петербургской молодости Свечиной, которые потом отразил, вместе с легким силуэтом самой рассказчицы, в этюде, посвященном парижскому салону русской папистки¹⁰⁰.

Свидание со старинной подругой было лишь косвенным поводом для поездки; в действительности, собравшись в Париж зимой 1839—1840 г., путешественница искала большего: ей хотелось встряхнуться, занять себя; свою Софи она знала хорошо и была наслышана достаточно, чтобы ждать чего-либо нового. Ее манили другие связи; она думала о сближении с такой замкнутой средой, как салон *Abbaye aux Bois*, где всё ей было по сердцу: и люди с Шатобрианом и Рекамье в центре, и аристократизм без преувеличений, и религиозность без нетерпимости, и оппозиционность без вызова, и культ того же прошлого, что у нее самой, и отношение к настоящему, наблюдаемому внимательно, но со стороны. Она осуществила то, что ей хотелось, и увидела всё, что ее занимало. Она сообщала о своих наблюдениях в письмах домой и кое-что заносила себе для памяти на бумагу. Когда она вернулась, А. И. Тургенев, сам недавно писавший корреспонденции из Парижа, был удовлетворен полнотой ее рассказов и ясностью ее наблюдений¹⁰¹.

В ее бумагах сохранился конспект парижских впечатлений: «Париж; общество г-жи Свечиной; г-жа Пасторе. Ультрамонтанское рвение, более жесткое, чем по ту сторону Альп, чувство отталкивания, религиозная враждебность. Отдельные люди. Общество г-жи Свечиной, герцог де Розан, Руэтт, доктор Уикмэн и др. Общество г-жи Рекамье, чтения, Сент-Бёв, курс Ампера; благотворительные спектакли, французский характер; королевское заседание; Палата депутатов, Ламартин, Тьер, Беррье, Одилон Барро, Дюпен. Французские женщины, большой свет, котерии. Проповедники, материальная жизнь. Версаль. Сен-Клу. Дружеские связи»¹⁰².

Эти пометки легко раскрываются. Обо всем, по свежим следам, она писала родным. Политические наблюдения и бытовые характеристики отражались в ее письмах живописно и выпукло. Ее письма лучше ее мемуаров. Она не теснила тут ни свой ум, ни свою откровенность. К тому же, Париж предстал перед нею в пору, когда все явления обнаженно обострялись. Скрытый *coup d'Etat* Луи-Филиппа, начало «эры личного правления» давали себя знать ощутительными толчками, сотрясавшими парламентские декорации и разваливавшими министерские комбинации. В постоянстве выступлений рабочих и бедноты, в настойчивости возобновляемых покушений на короля, в войне просвещения и поповщины, в грызне партий и лидеров уже были предвестия великого взрыва 1848 г. Для графини Эдлинг осталось скрытым кипение парижских недр, но волнение поверхности она наблюдала, полупугаясь, полулюбопытствуя, стараясь не пропустить новинок и не слишком близко подойти к ним. В письме 12 декабря 1839 г. она наперед успокаивала мужа и просила не тревожиться: «Рекомендую вам, дорогой друг, не беспокоиться за меня, ежели до вас дойдут слухи о волнениях в Париже. В нашем Сен-Жерменском предместье нам страшиться нечего. Да и правительство на-чеку. Я обедала намеренно у маркизы Пасторе вместе с легитимистами,—нелепые это люди: сами путают карты, а потом кричат, что Францией невозможно управлять (*«que la France est ingouvernable»*)!.. Все партии сейчас объединились против правительства, но и обманывают друг друга. Население же сейчас возбуждено против денежной аристократии, на которую опирается Июльская монархия, и дороговизна хлеба способствует этому. Католическая партия примкнула к правительству—не по внутреннему влечению, но в расчете, что это превосходный случай доставить триумф

Риму... А пока торговля идет из рук вон плохо...»¹⁰³. Она побывала в Палате, чтобы воочию поглядеть на героев дня; она дважды описала это зрелище, что соответствует обоим упоминаниям ее конспекта: «королевское заседание; Палата депутатов». Она сообщала мужу: «Пишу вам, вернувшись с королевского заседания, на котором присутствовала с интересом, как на новинке (*comme à une nouveauté*). Я сидела так, что видела лишь пэров Франции, с их облачениями и обликами стряпчих (*«tournure de scribes»*). Депутаты в черных фраках, наоборот, очень молоды и элегантны. Это—подавляющая часть Палаты. Король очень хорошо произнес речь, важным голосом, с верными и мелодичными оттенками, но его раскланивания и его манера держаться никак не вязались с его речью»¹⁰⁴. Так пишут о театральных премьерах, об актерах в главных ролях; сущность заседания она обошла,—это мало занимало ее. Слышны и нотки аристократического презрения к зрелищу нелегитимного монарха в неустойчивом парламенте. Она побывала на заседании иного рода, бурном, грозившем падением правительству, но сохранила то же впечатление зрелища, лишь с большим количеством занимательных фигур; их обликам она уделяет все внимание.

«Расскажу вам,—пишет она 3 апреля 1840 г. брату,—о дебатах в Палате, на которых я присутствовала. Весь Париж занимало то, что могло произойти: вопрос о секретных фондах был рычагом, который должен был опрокинуть или сохранить министерство»¹⁰⁵. Обе партии, казалось, верили в свой успех. Луи-Филипп, как передают, был в отчаянии от того, что ему навязали министерство, решившееся сломить его иго. Ждали волнений в столице. Платили до 50 франков за место на трибунах, и много народу забралось на трибуны для публики еще накануне. Я получила два билета по протекции г-жи Пасторе и была с виконтом де Мелёном, которого г-жа Свечина любит, как сына¹⁰⁶. Мы были прикованы к своим скамьям от полудня до шести вечера, но было так интересно, что я почувствовала усталость, лишь вернувшись домой. Тьер открыл заседание, и я была восхищена силой его слова, несмотря на неблагоприятнейшие данные: голос глухой и надломленный, но отчетливо слышимый, внешность хилая и заурядная, а в то же время—порыв, полнота, естественность, простота и убежденность... За ним следовали ораторы без таланта и данных,—не понимаю, откуда у них решимость или, вернее, наглость надоедать, не смущаясь... Далее выступил Ламартин. Искусство, благородство, изящество, вкладываемые им в свои выступления, придают его речам значимость, которой нет в его словах. Он, в самом деле, очень красив, когда, скрестив на груди руки, в несколько театральной позе, ждет, чтобы утихомирился поток парламентских протестов или одобрений. Он обратился с запросом к левой. Одилон Барро кинулся к трибуне и своим громовым голосом ответил не без скрытого замешательства, так как должен был голосовать за секретные фонды и хотел оправдать это. На завтра я была в дипломатической ложе одна... Ремюза приготовил хорошую речь, но произнес ее очень плохо. После нескольких стычек на трибуну взошел, наконец, Беррье. С его появлением сразу настало глубокое молчание. Всем хотелось услышать его. Вы, вероятно, читали его речь, но стенографы утверждают, что были так увлечены удовольствием слышать его, что плохо записали его слова, горевшие одушевлением, красноречием и очарованием... Речь Беррье встретила общее одобрение—вся Палата была с ним. Мне было забавно следить за всем

этим движением. Оратор в изнеможении опустился на место, ему принесли бульон для подкрепления сил. Между тем, Тьер выждал восстановления спокойствия, чтобы заставить выслушать себя, и поднял снова вопрос, с более высокой точки зрения, ставя границы между министерством и королевской властью, так, чтобы нельзя было переступить их...»¹⁰⁷. Узнаем в этой картинке былую собеседницу де Местра, великую искусницу бесед; она явно не утратила вкуса к этому, и те два парижских салона, которые видели ее своей постоянной гостьей, явились и последними свидетелями ее дарований: один салон—ее искусства спора, другой—ее искусства лести.

Первое явствует из пометок парижского конспекта, о втором свидетельствуют бумаги архива. Настороженность к Свечиной оказалась более оправданной, чем Эдлинг предполагала. Экзальтированная Свечина и в шестьдесят лет попрежнему принимала чаемое за сущее. Ее теперь обуюла иллюзия, что она сделает то, чего когда-то не смог сделать сам Местр, и что именно ей суждено приобщить Эдлинг к католической благодати. Она нетерпеливо ждала ее приезда, возвещала о нем наперед ряду лиц и была изумлена и расстроена непроницаемостью прибывшей; позднее она писала о своем замысле и поражении: «Какую горечь избыла бы моя печаль, ежели бы мне дано было сохранить близ себя эту бедную мою подругу и вместо ее деятельности, совершенно внешней, приобщить ее, столь же действенно, к лону истины!»¹⁰⁸. Тут—объяснение тем неприязненным пометкам, которыми Эдлинг прокомментировала свечинскую часть своего парижского конспекта. Она с усмешкой писала о встрече брату: «Я нашла добрую нашу г-жу Свечину почти такой же, какой рассталась с ней. Видимся мы с ней ежедневно, хожу туда по утрам, дважды обедала у нее, бываю там вечером... Этот дорогой и превосходный друг находится постоянно всё в том же круге идей, которые, по-моему, больше возбуждают ее, нежели питают и согревают... Я заметила, что вся эта партия твердо верит, или делает вид, что верит, будто весь вопрос—в папском авторитете и что вне этого нет ничего важного»¹⁰⁹. Итогом был, видимо, если не формальный, то жизненный разрыв отношений; переписка между подругами, до той поры столь оживленная и интимная, после Парижа оборвалась; во всяком случае, ни одного письма позднее 1838 г. нет¹¹⁰.

Не то было с кругом Рекамье. Связь с ним наладилась сразу—и сохранилась позднее. Эдлинг была введена туда Свечиной и сумела завоевать благосклонность Шатобриана и дружественность Рекамье. Она гордилась этим, как нерядовым успехом, ибо старый Шатобриан был знаменит неприступностью. «Я была,—писала она 8 декабря 1839 г. мужу,—у г-жи Рекамье, которая очаровала меня: это предел изящества и простоты. Я видела у нее Шатобриана, а так как она чувствовала, что, главным образом, ради него я и приехала, она тут же представила нас друг другу... Всё, что говорят об угрюмости г. де Шатобриана, неверно. Нельзя быть более любезным, более приветливым и, особенно, более простым. Приятно видеть, как седина волос окаймляет благородство его черт, но вызывает удивление его маленький рост, потому что заочно представляешь его себе таким же высоким, как его гений. Г-жа Рекамье казалась довольной знакомством со мною,—она сказала, что отправится поблагодарить г-жу Свечину за это. Я рассчитываю поддерживать с ней знакомство (*la cultiver*). Она не принимает больше иностранцев, но для меня сделала исключение...»¹¹¹.

ШАТОБРИАН В СТАРОСТИ

Гравюра неизвестного художника, 1840-е гг.

Собрание Б. М. Минервина, Москва



Оглядевшись и освоившись, она подтвердила свои впечатления: «Это—простая и добрая женщина, живущая сердцем. Она выражает большое удовольствие видеть меня. Круг людей у нее совсем маленький,—всегда встречаешь одних и тех же людей в одни и те же часы. До сих пор Шатобриан был всегда приветлив и любезен со мной. Говорят, что на него находят иногда приступы нелюдимости и что тогда он не раскрывает рта. Во взгляде у него есть что-то исключительно прекрасное. Это—взгляд гения. Добрый Балланш поистине превосходен, и мне приятно со всеми этими людьми. Ультрамонтанцы, которых я встречаю у г-жи С[вечиной], не так любезны, по меньшей мере...»¹¹². Она уже входит в интересы и заботы кружка, уделяет внимание тому, чему полагается по уставу салона, и «нежное иго», как называл Сент-Бёв порядки, установленные г-жой Рекамье для «подданных» *Abbaye aux Bois*, ее не тяготит: она выполняет обязательный ритуал и в отношении хозяев, и в отношении их друзей,—опять-таки в противоположность кругу Свечиной: «Среди развлечений, какие я доставляю себе, надо не пропустить упоминания о курсе г. Ампера в «Коллеж де Франс». Дамы слушают его, и я тоже хожу туда дважды в неделю—большой частью, чтобы доставить удовольствие г-же Рекамье и ее обществу, ибо г. Ампер—ее протеже... На этой неделе мы будем слушать о Савонаролле. Г-жа С[вечина] не бывает там, так как ужасно страдает при малейшем споре, связанном с ее ультрамонтанскими идеями. Самое страдание это уже является доказательством, насколько в глубине души она мало верует в свое дело»¹¹³.

Эдлинговские старания были оценены: она присутствовала на интимных чтениях рукописи «*Mémoires d'Outre-Tombe*». «Надеюсь на этих днях,—оповещает она мужа 1 января 1840 г.,—быть на чтении «Замогильных записок» г. де Шатобриана; это—милость, которую я очень ценила бы. Он глядит на меня благосклонно, но я всё еще не могу победить

скованности, которую он мне внушает, хотя до сих пор я видела его всегда любезным и беседующим»¹¹⁴. В архиве Эдлинг сохранились и две собственноручные записки г-жи Рекамье; как всегда, они — кратчайшие, в несколько скупых строк, но ее умение вкладывает в них все оттенки, какие она желает дать почувствовать. Одна лишена сколько-нибудь точных признаков места отправления, однако, последняя фраза и то обстоятельство, что это только записка, без адреса, может быть, посланная с рук на руки, нарочным, позволяет предположить, что Эдлинг еще в Париже; другая написана в Эмсе, уже при последней встрече на водах, перед эдлинговским отъездом домой.

(1)

[Париж] Вторник [1840 г.]¹¹⁵

Примите всю мою признательность, сударыня, за обязательную память вашу и за сочинение, которое вы благоволили мне прислать; я поспешила прочесть г. де Шатобриану страницу, отмеченную вами с такой любезностью, как отклик восхищения, отразившегося вдали, на чужой стороне. Но, сударыня, умоляю вас, никогда не произносите слово «нескромность», говоря о себе, и поверьте, что я всегда буду очень счастлива и очень признательна за все минуты, которые вы пожелаете уделить мне.

Жюльетта Рекамье

На обороте: Графине Эдлинг

Слова, подчеркнутые Рекамье, взяты, видимо, из сопроводительной записки Эдлинг; явно также, что посланное сочинение было написано русским автором по-французски. Что это могло быть? Не один ли из манускриптов брата, Александра Стурдзы? Или в рукопись собственных ее мемуаров, которые, мы знаем, она захватила с собой, было вплетено то письмо к Шатобриану по поводу Веронского конгресса, которое она сочинила за год до путешествия в Париж? Во всяком случае, надо предполагать нечто подобное, близкое по происхождению.

(2)

[Эмс] Суббота [июль 1840 г.]¹¹⁶

Я очарована, сударыня, известием, что вы еще в Эмсе. Как счастлива буду я вновь увидеть вас и передать вам выражение всех воспоминаний, которые вы оставили в маленьком нашем кругу Abbaue aux Bois. Я слишком утомлена, чтобы сегодня же встретиться с вами, но сообщите, в каком часу я смогу повидать вас завтра, и примите свидетельство всех моих чувств.

Ж. Р.

На обороте: Графине Эдлинг

Датировать записку можно достаточно точно: Рекамье уехала из Парижа, лечить простуду, 18 июля 1840 г.¹¹⁷ — значит, в самом начале двадцатых чисел она была в Эмсе. Эдлинг могла быть довольна тем, что Рекамье сочла нужным оттенить в письмеце: «наш маленький круг» признавал ее своей. «Дружеские связи» эдлинговского конспекта, в самом деле, — это только члены «Лесного аббатства». Другие упоминания отчужденны: маркиза Пасторе была человеком и толка и среды Свечиной, и ее

легитимистские чувства и светски-католическая благотворительность мало занимали Эдлинг; она говорит о них без иронии, но и без интереса. Английского ультрамонтана доктора Уикмэна она характеризует, как «довольно простоватого англичанина», и т. д. Подлинные «*célébrités du jour*»—знаменитости дня, по ее утверждению, были вокруг Рекамье. Из них она облюбовала себе двоих—Сент-Бёва и Балланша: «Это единственные знаменитости, которых я бы охотно стала видеть у себя»¹¹⁸,—пишет она мужу. Но осуществить это ей удалось лишь наполовину: «*Ballanche plus béat que jamais*»—«Балланш более блаженный, чем когда-либо», по тогдашнему замечанию Сент-Бёва¹¹⁹, дряхлеющий мечтатель, фантазер демократического христианства,—«этот добрый Балланш», «этот превосходный Балланш», по неизменному выражению близких и далеких, был неспособен уделить внимание чему-либо, кроме традиционных обязанностей своего поклонения г-же Рекамье и новоприобретенных тревог своей кандидатуры во Французскую академию. Зато ее вознаградила своим вниманием Сент-Бёв. В *Abbaye aux Bois* за ним ухаживали; он был там желанен, признан, но своим человеком не был и не хотел быть. Он умел капризничать; он уже раз уходил—опять вернулся и мог уйти снова. Он был скрытен—во всяком случае, неясен; от него можно было ждать непредвиденностей. Его ласкали, за него держались. Г-жа Рекамье охватывала его «ласковым влиянием», которое, мстительно говорил он потом, «совершенно парализовало меня и не оставляло моему перу места для подлинного суждения»; а сам Шатобриан «дважды или трижды соблаговолит произнести мое имя с похвалой», приковывая «словно бы золотой цепочкой к своей статуе»¹²⁰; «... шелковой петлей и золотой цепочкой»¹²¹,—писал он еще раньше друзьям. В среде «Лесного аббатства» он был, как бы то ни было, независимее и свободнее всех прочих—жил собственными интересами и планами и если давал себя использовать во славу «*petit sésame*», то и заставлял служить своим видам. Он мог общаться с Эдлингом вне круга Рекамье и независимо от него.

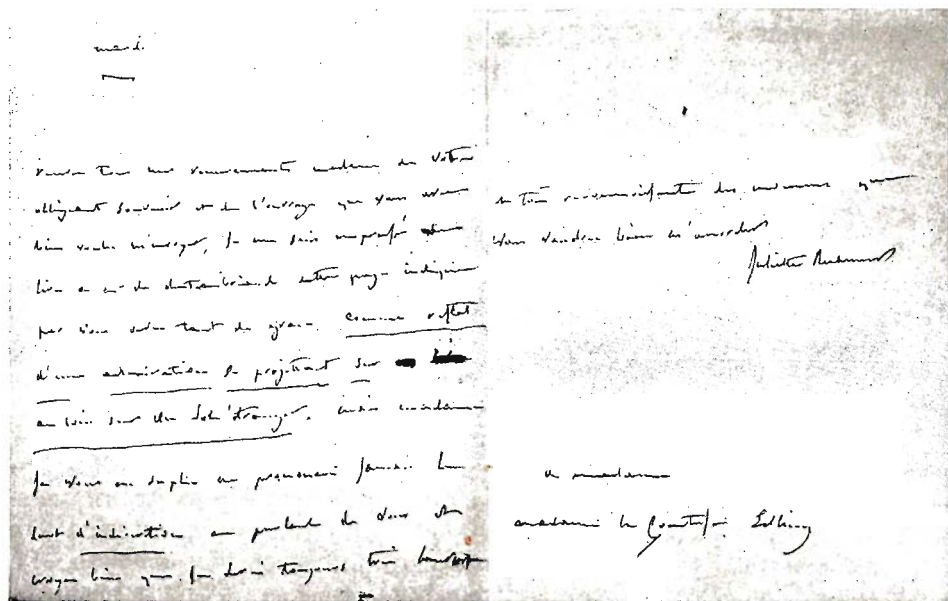
Он был вполне вхож и туда, откуда Эдлинг начинала свое знакомство с Парижем: в салоне Свечиной его принимали благожелательно. Он был так универсален, что находил точные и тонкие суждения и для вещей, единственно занимавших эту среду,—для судеб католичества, для прерогатив папы, для положения галликанской церкви, для потрясений ламеннэизма, для сореволюционных модных проповедников и т. д. К его характеристикам прислушивались, его произведения обсуждали¹²², его слова запоминали, сама Свечина, при случае, цитировала их¹²³, а он, в свой черед, собирал у нее мед для своих ульев. Живое свидетельство о Жозефе де Местре он впервые получил от нее: «Приступаю к изучению Местра (большого Местра), и завтра у меня свидание с г-жой Свечиной, весьма одухотворенной русской дамой, хорошо его знавшей и приобщенной им к католичеству»¹²⁴. Но он держался здесь много более отчужденно и настороженно, нежели у Рекамье. «Центр влияния г-жи Свечиной не привлекал меня... В понимании того, что такое салон, я остался вполне классиком... Тут был не салон; дайте этому любое имя: вестибюль рая, богдельня для светских людей»,—писал он впоследствии, когда посмертные публикации свечинского архива, предпринятые гр. де Фаллу, дали ему okazji сказать, по обыкновению, по адресу покойницы то, о чем он вежливо молчал по адресу живой, и рассыпать по страницам своих двух статей царапающие пометки о «святых, не являющихся таковыми», о «душе, ревностно

кинувшейся к богу из боязни слишком живого влечения к земным вещам», об «уме, обладающем изворотливостью византийской, или русской, или изворотливостью греческого архимандрита»¹²⁵ и т. д. и т. п. Он утверждал, что тут были отголоски его бесед с Эдлинг; несмотря на опровержения свечинского круга, он писал: «Я часто общался во время путешествия, совершенного ею в Париж, с очаровательной Роксандрой, с этим другом юности г-жи Свечиной, впоследствии—графиней Эдлинг; она часто жаловалась мне (покорнейше прошу прощения у тех, кто писал обратное) на известную холодность и сдержанность, которые она встречала теперь в старой подруге и которые приписывала разности вероисповеданий. Г-жа Эдлинг осталась православной, и это в итоге образовало лед между г-жой Свечиной и ею»; а в сносках значится: «Это место вызвало раздражение друзей г-жи Свечиной, утверждавших обратное; были сделаны попытки опорочить его достоверность, но безуспешно»¹²⁶.

Он мог бы даже сказать больше и резче. Письма Эдлинг,—мы видели,—определеннее и беспощаднее. Дело было уже не столько в различии двух исповеданий, сколько в противоположности двух мироощущений. Принужденной экзальтации Свечиной противостояла естественная охлажденность Эдлинг, как противостоял и раздраженный скептицизм Сент-Бёва. У обоих была неприязнь ко всему чрезмерному (а Свечина была сама нарочитость и сама чрезмерность), влечение к относительностям, к оттенкам, к тонкостям, к всё понимающему, но ничему не отдающемуся лицемерию жизни. Эдлинг обрела это давно и несла уже примиренно и успокоенно; Сент-Бёв—недавно и еще терзался. Он плакался перед верными людьми,—плакался и перед Эдлинг, когда обнаружил, что она может и хочет его понять. Следы его жалоб и ее советов сохранились в эдлинговских письмах. Она встрети-лась с ним в труднейшую пору, когда он уже совсем потерял иллюзии, но еще не вполне смирился. Он понял, что жизнь проиграна, хотя очевидность словно бы опровергала это. Он был «знаменитостью дня», несомненно. Он стал первым критиком Франции—самым весомым и решающим. От маститого Шатобриана до начинающего Мишле, все ждали его статей, а он разборчиво и несправедливо об одних писал, о других молчал, третьим обещал, не исполняя. Он сводил уже написанное в томы, издавал и переиздавал их, и эти пять томов его «*Critiques et Portraits littéraires*» были у всех на руках. Многомесячный курс лекций в Лозанне 1837—1838 г. уже свел воедино материал и дал первый очерк капитальнейшему труду его жизни—истории «*Port-Royal*». Его интересы были энциклопедичны, его работоспособность огромна, его появление в печати непрерывно. Он уже берет в железные рамки расход времени, который и теперь, в эпоху семнадцатилетнего сотрудничества в «*Revue des Deux Mondes*», точен, а потом, в пору «Понедельничных бесед», выльется в каторжный режим четырех дней подготовительного чтения, одного дня писания, одного дня корректур и одного дня отдыха,—и так в течение новых двадцати лет, создавших циклопическое здание «*Lundis*»¹²⁷. Но за всем этим, повернутый внутрь к самому себе и к кое-каким близким, скрывался материально нуждающийся, сердечно голодный и духовно неудовлетворенный человек. Известность не обеспечивала его; недостатков хватало в обрез на ежедневные расходы да на стесненное представительство в свете; он уже десять лет жил в двух студенческих комнатках, на пятом этаже, «за 23 франка в месяц, включая завтраки», и приезд Эдлинг застал его еще там. Это было не самое важное,—тягостнее было одиночество:

он не умел ни приваживать, ни удерживать людей. Семьи он не создал; на его влечения не отвечали; в «друзьях» числились у него приятели, малозначительные люди, да еще обычно отделенные от него расстоянием и временем, а единственную большую дружбу с большим человеком, с Виктором Гюго, он разрушил, попытавшись войти в его семейную жизнь третьим участником. Он сам сказал о себе: «Я—человек, которого едва ли не больше всех отвергали в любви и который сам больше всех отвергал дружбу»¹²⁸.

Купол творчества, поднимавшийся над этим бедным зданием личной жизни, стоял тоже в трещинах и скрепах. Знаменитый критик был им поневоле. Он страдал от вынужденности своей профессии. Его мечта, с первых же литературных шагов, была иной: он видел себя поэтом, он



АВТОГРАФ ЗАПИСКИ Г-ЖИ РЕКАМЬЕ К Р. С. СТУРДЗЕ-ЭДЛИНГ, 1840 г.

Институт литературы Академии наук СССР, Ленинград

всю жизнь писал стихи, он упорно их печатал, он вправлял их при каждой okazji в письма к друзьям, он готов был читать их любому встречному, «даже продавщице в кафе, если она соглашалась слушать»,—презрительно вспоминал Барбе д'Орвилль¹²⁹. Современники единодушны: «Тут было его подлинное и тайное честолюбие; он почти сожалел, что вторая репутация, столь обширная, столь заслуженная, столь признанная всеми, как бы скрывала или погребала под собой первую... Одно слово о «Жозефе Делорме», об «Утешениях» и, в особенности, об «Августовских мыслях» давало ему больше радости, чем обстоятельная похвала его последней «Понедельничной беседе»,—свидетельствовал Теофиль Готье вскоре после его смерти¹³⁰. Можно оценить великодушие Гюго, которого каприз случая вынудил принимать официальное вступление Сент-Бёва во Французскую академию, когда он был его другом, ставшего мстительным врагом, показавшим ему когти даже в этот торжественный день, настой-

чиво именовал в приветственной речи «поэтом», говорил об его стихах, об его романе и подчеркивал даже в его критике лирическое «очарование»¹³¹. Вообще же его стихи считались несуществующими во французской поэзии: о них не принято было беседовать в обществе, их принято было высмеивать в прессе; даже «Жозефа Делорма», недаром почётного похвалой нашего Пушкина, отодвигали в даль раннего романтизма и оставляли вниманию историков. В пору, когда создавалась поэзия «Ж. Делорма», у Сент-Бёва еще было что сказать миру о себе и о жизни: он искал своего подвига, страдал от несоответствия мечты и сил, торопился в будущее. К 40-м годам все это было уже позади. В нем жило теперь лишь интеллектуальное любопытство к явлениям культуры—огромное, но холодное. Изучение его общественной и духовной истории оставляет горечь у того, кто приступает к этому с живым и сочувственным интересом; нечесты у историков литературы такие признания, как у лучшего его биографа, создателя классической монографии о Сент-Бёве 1820—1850-х годов—у G. Michaut, который испытал потребность сказать своим читателям: «Я начал, признаюсь, этот труд совсем иначе, с большим жаром и радостью, нежели его кончаю... Горестно зрелище, когда человек теряет понемногу свои надежды, иллюзии, самые дорогие притязания или влечения, когда он печально довольствуется тем, что становится чистым интеллектом, «присутствующим при смерти» сердца и «мерцающим над этим кладбищем, как мертвая луна». Это зрелище Сент-Бёв дал мне; и мне кажется даже, что всем, кто слишком тесно общается с ним, он передает частицу своей разочарованной меланхолии»¹³². Молодой Золя писал об этом еще в 1879 г., за четверть века до Мишо,—новейшие исследователи повторяют это в наши дни, спустя четверть века после Мишо,—это основное, разногласий тут нет.

Самому Сент-Бёву казалось, что он всегда был таким, что молодости у него не было: уныние зрелости он переносил в свое прошлое. «Я играл во все игры разума»,—вот его формула для пережитого; «я немного занимался христианской мифологией»¹³³,—как будто так можно назвать его поиски веры или увлечение католическим прозелитизмом раннего Ламеннэ; «я прикоснулся к сен-симонизму»,—как будто это выражение подходит для его ученичества у Анфантена и сотрудничества в социальном «Globe»¹³⁴; даже от романтизма, сделавшего из него писателя, он, в сущности, отрекался, утверждая, что был всего лишь «жирондистом», «Верньо» среди этих неистовцев. Глядя назад, он всё выравнивал под углом зрения того подчинения новинкам книжного прилавка, того меланхолического собирания литературного гербария всех идей, всех страстей, всех обманов и всех очарований человеческой мысли и чувства, в какое он превратил труд критика и которое Тэн, в некрологе Сент-Бёва, назвал «ботаническим анализом применительно к людским особям», «изобретением, внесшим в моральную историю приемы естественной истории»¹³⁵. Сам Сент-Бёв говорил то же, но оценивал это беспощаднее и искреннее: как раз в год общения с Эдлингом, 1840, он выразился про свое писательство: «... литература—это единственное бесплодное и неблагодарное отцовство, которое мне дано»¹³⁶. Всё, выходявшее из нормы, теперь тяготило его. Он признавался, что хочет нетревожимого, размеренного, обеспеченного существования; он начинал находить вкус в политическом *juste-milieu*; он отталкивал всё, что считал крайним; его злили легитимисты, он морщился перед ультрамонтанством, отрекался от ламеннэистов, сторонился республиканцев,

повертывался спиной к сен-симонистам. Свою былую, настороженно охраняемую независимость он уже непрочь был уступить обеспеченности правительственной службы, почету академических отличий, внушительности университетского звания. Уже салон г-жи Рекамье предстательствовал за него перед Гизо относительно профессорской кафедры, а салон г-жи д'Абрувиль готовился выполнить для него свое назначение вестибюля Французской академии. Даже к «прогнившему роду Орлеанов» он умерил свою нетерпимость—он ворчливо выжидал. Ко времени появления Эдлинг он был уже почти «gouvernable»—«доступным управлению»¹³⁷.

Литературное знакомство с ним завязалось у Эдлинг раньше жизненного,—не потому только, что книжки «Revue des Deux Mondes» были привычны для русского читателя, но и потому, что за два года до парижского путешествия Сент-Бёв должен был привлечь к себе ее внимание: июльский номер журнала за 1837 г. содержал этюд о Крюденер, а в октябре, с этой же статьей в виде предисловия, Сент-Бёв выпустил в свет крюденовскую «Валерию»—первое после трех с половиной десятилетий переиздание уже забытой вещи, возвращавшее Крюденер звание писательницы, с которого она начинала когда-то свой общественный путь. Это был тот первый этюд о Крюденер, где Сент-Бёв еще умалчивал обо всем, что позднее насмешливо вложил в загробные уста Сент-Эвремона и где черты каботинки были смягчены бархатисто-нежной пылью «пастели», по слову самого Сент-Бёва¹³⁸. Живую связь с ним стал для Эдлинг налаживать будущий крюденовский биограф, Шарль Эйнар. Сам он познакомился с Сент-Бёвом в Швейцарии зимой 1837—1838 г., через общих местных друзей, супругов Оливье, которые были главным рычагом приглашения, посланного Сент-Бёву Лозаннской академией, прочесть курс о «Port-Royal»; Эйнар, видимо, слушал его лекции, несомненно, общался с ним лично, как продолжал общаться и позднее, при наездах в Париж¹³⁹, и есть все основания думать, что «пастель» была толчком и отправной точкой для той крюденовской апологии, которую затеял теперь набожный швейцарец; Сент-Бёв поощрял его литературные замыслы, помогал советами и связями, переписывался с ним¹⁴⁰. Эдлинг, взявшая путь на Париж через Женеву и видевшаяся там с Эйнаром-дядей и Эйнаром-племянником, получила от последнего для вручения Сент-Бёву препроводительное письмо и первый эйнаровский труд—биографию Тиссо, знаменитого швейцарского врача XVIII в.; выполнение поручения должно было привести к непосредственному знакомству. Спустя некоторое время Шарль Эйнар писал Эдлинг: «Предполагаю, что теперь вы уже виделись с г. Сент-Бёвом. У меня было известное поползновение написать ему, в связи с одной заметкой, помещенной в «Revue des Deux Mondes», где он извещает читателей о моем намерении составить жизнеописание г-жи Крюденер. Он подает мне совет заняться такую же биографией Бонштеттена, но к этому я не чувствую ни способности, ни расположения. Что же касается Крюденер, то раз уж теперь заявлено публике, что я работаю над ней, хочу просить у вас советов»¹⁴¹. Это было ответом на извещение Эдлинг, отправленное 26 ноября 1839 г.: «Я послала вашу книгу г. де Сент-Бёву, присовокупив несколько слов; он ответил мне самым любезным образом и подает мне надежду на свой визит...»¹⁴². Действительно, в эдлинговском архиве сохранилось следующее письмо—первое в переписке Сент-Бёва с ней:

(1)

[Париж] Сего 25 ноября [1839 г.]¹⁴³

Графиня,

Я весьма обязан г. Эйнару за мысль отправить мне свое послание при помощи такого посредника. Честь, которую вы оказываете мне столь благосклонными словами о моих минувших успехах, несомненно, настолько же неожиданна, насколько и лестна. Единственное, что уменьшает мое изумление,—это сознание, что выражение чрезмерной благожелательности исходит от представительницы нации, которая искони приучила наших писателей к щедрым знакам внимания.

Благоволите принять, графиня, в ожидании того, что в ближайшее же время я буду иметь честь лично возобновить их,—выражения моей признательности и почтительного уважения.

Сент-Бёв

На обороте: Графине Эдлинг

Сент-Бёв, в самом деле, не замедлил явиться в отель «Orient», на улице Доминик, 34, в предместье Сен-Жермен, где, по соседству с домом Свечиной (она жила в № 74), остановилась прибывшая; первый визит был неудачен—Сент-Бёв не застал ее. Она огорченно опасалась, что знакомство не состоится: «Г-н де Сент-Бёв мне написал и пришел навеститься, но, по несчастию, меня не было дома»,—пишет она мужу¹⁴⁴, но Сент-Бёв считал возможным повторить посещение; Эдлинг тут же сообщила об этом домашним, а затем и Эйнару. Сент-Бёв пожелал произвести впечатление и успел в этом; неприглядность наружности он привычно перекрыл тонкостью ума и мастерством беседы—талантами исконно милыми эдлинговскому восприятию. Брату она писала: «Г-н де Сент-Бёв явился ко мне еще раз; я с удовольствием познакомилась с ним. Он застенчив, прост, добродушен, мал ростом, неказист,—и все же приятен. Первый том его «Port-Royal» должен выйти в свет. Всего их будет четыре. Всё, что он сказал мне об этой «растленной цивилизации», как он ее именует, которая овладевает душой, чтобы измотать ее во всех смыслах и затем бросить совсем опустошенную в вечность,—поразило меня. Говоря мне о своей работе над «Пор-Роаялем», он сказал еще:—Не следовало бы прикасаться к алтарю, не сохраняя его печати. Это дурно, знаю, но что делать?»¹⁴⁵. Спустя четыре дня она то же повторила Эйнару, но уже с занимательными добавками: «Я виделась с г. де С.-Б.,—он пришел еще раз и очень заинтересовал меня не только своим умом, но и простотой. Он сейчас очень в моде, и в салонах он нарасхват. Первый том «Port-Royal» печатается. Очень боюсь, что он не соответствует нашим ожиданиям. Г-н де С.-Б. мне сказал:—Чувствую, что дурно прикасаться к алтарю, не сохраняя хотя бы его печати, и мысль оказаться вдруг брошенным в вечность из этой растленной цивилизации, не дающей нам времени дышать,—ужасающая. Удовлетворится ли господь извинениями, что не хватило-де времени подумать о нем?»¹⁴⁶. Как видим, направление беседы и прием, применяемый Сент-Бёвом, были взяты так, чтобы сразу сломать светскую условность первого визита; тема беседы была не просто значительна, но и требовала задушевности. Перед Эдлинг был не именитый судья духовной жизни века, но страдающий ее болезнью человек; наступательной, местровой непреложности чувств и суждений здесь противостояла всевидящая, но безвольная и утверждающая свое непротивление злу душа, и притом не менее искусная в самовыражении, нежели

петербургский учитель Стурдзы. Оба ее письма свидетельствуют, что Сент-Бёв знал о ней,—вероятно, от Свечиной,—и безошибочно прикоснулся к нужной струне. Это он умел; это было его гордостью, ибо он сам, как актер, заражался очередной ролью и воплощал ее. Винтимных тетрадах он снимал грим и тешил себя откровенностями: «Подлинно большие чувства и истинно высокое—не для меня; но я хорошо слышу трескотню сердца»; «...я—притворщик, у меня безразличный вид, но на деле я думаю только о славе...»; «...я знаю слова, которые придают очарование жизни; я злоупотреблял этим и злоупотребляю еще поныне...»¹⁴⁷ и т. д. Это не значит, что в оказиях, подобных встречам с Эдлинг, он был просто мистификатором: все своеобразие его природы состояло в том, что в нем



ЗДАНИЕ БИРЖИ В ПАРИЖЕ
Акварель Франсуа Виллере, 1840-е гг.
Собрание И. С. Зильберштейна, Москва

жили корешки всех чувств, но неразвившиеся, а он с изумительной подвижностью отыскивал в себе ту черту, какая в минуту работы или беседы была ему нужна, и показывал ее сквозь увеличительное стекло своего ума и речи. Так теперь были демонстрированы для Эдлинг картины разлада сознания и чувства, воли к добру и воли к жизни—вещи такие родственные ей самой. Она дала себя по началу убедить,—сострадала и умилялась: «Это—душа очень усталая и трогательно-наивная (*d'une naïveté touchante*)»,—резюмировала она итоги первых бесед и встреч. Это стало главной темой ее размышлений о Сент-Бёве даже в таком самодовлеющем кружке, как салон Abbaye aux Bois. «Г-жа Рекамье сказала мне,—сообщает она Эйнару,—что пример Ламеннэ принес ему [Сент-Бёву] много вреда»,—тут отголоски объяснений, какие печатно и изустно давал Сент-Бёв своему отступничеству от неистового аббата в решающую пору его борьбы с папизмом и какие внушал он и самой Эдлинг, совер-

шенно готовой понять и оправдать это отступничество: «Ламеннэ,—читаем в ее письме к брату,—только-что опубликовал брошюру «О современном рабстве», в которой доказывает, что невольник много менее раб, нежели пролетариат. Это уже отзывает безумием. Сент-Бёв утверждает, что никогда две идеи одновременно не входили в голову Ламеннэ и что в этом—объяснение всей его жизни»¹⁴⁸. Взаимопонимание полное; столь удачно начатое общение оставалось лишь развивать. Одна из ближайших записок Сент-Бёва свидетельствует, что Эдлинг принимала меры, чтобы не только укрепить, но и упростить отношения.

(2)

[Париж] Понедельник [конец 1839—начало 1840 г.]¹⁴⁹

Мне очень хотелось бы сказать «сегодня», но я слишком устал и к тому же простужен и буду настолько г л у п, что не смогу беседовать с вами. Не смогу я и завтра, но мы вместе с вами, сударыня, установим день, когда я буду столь же связан всеми обычаями древних славян, как я уже связан сердцем,—благоволите верить этому.

Тысяча почтительных свидетельств уважения.

Сент-Бёв

На обороте: Графине Эдлинг.

Улица св. Доминика

Он, в самом деле, стал ее постоянным гостем, а затем даже зачастил; в середине декабря 1839 г. она упоминает о его визите вместе с г-жой Пасторе, а в январе 1840 г. уже пишет Эйнару: «Сент-Бёв навещает меня один-два раза в неделю»¹⁵⁰. Она заняла устойчивое место в житейском календаре, который у Сент-Бёва, как у Местра, был установлен чувством душевной бесприютности; Сент-Бёв выражал ее по-местровски, но в еще более горькой формуле: «Я дошел в жизни до полнейшего безразличия. Не всё ли мне равно,—лишь бы что-нибудь делать утром и куда-нибудь отправляться вечером»¹⁵¹. Среди этого «quelque part» эдлингские комнаты в отеле «Orient» зимой 1839—1840 г. видели его много чаще, чем свечинские апартаменты по соседству и даже чем маленький салон Abbaue aux Bois, куда он наведывался обычно в дни обязательных чтений, раз в неделю. В конце декабря, как выражается Сент-Бёв в письме к Эдлинг, они числились уже «старыми знакомыми», и на таких правах он приобщал ее к кое-каким своим житейским заботам.

(3)

[Париж] Сего 31 декабря [1839 г.]¹⁵²

Графиня,

Позвольте использовать вас, как старую знакомую,—а вы это уже почти позволили мне,—и поднять с вами разговор об одном добром деле, в котором сам я мало что могу сделать. Речь идет о некоей бедной и несчастной еврейской семье, которая вот уже ряд лет находится в крайней нужде. Зовут их К а н т о р, живут они на у л и ц е П а в е (близ Марэ), 12; они пробудут там лишь до 8 января, так как вынуждены съехать за невзнос платы, а куда деться—не знают. Отец, мать, дочь—вот вся семья; отцу под семьдесят, он—паралитик, мать тоже. Когда-то они были в Амстердаме негоциантами, знали блестящие времена, были даже, видимо, раз представлены ко двору,—всё это уже спуталось у них

СЕНТ-БЁВ

Литография 1830-х гг.



в памяти, ослабленной болезнью и нищетой. Им помогали много в течение ряда лет, но люди устают; нет ничего реже постоянства в благотворительности. Я и сам, хотя мало что мог, тоже утомился, и, признаюсь, это лежит у меня на совести. Письмо от старика, только-что полученное мною, и память о нашем разговоре, имевшем место на-днях, соединились во мне—и вот я почел бы за грех не сделать для них того, что представляется мне возможным при вашей помощи. Этих слов, сударыня, достаточно при таком сердце, как у вас. Дочь этих несчастных—почтенная особа, помогающая им в меру своих сил, но и сама изнемогающая под бременем обстоятельств, которые сильнее ее.

Примите, сударыня, выражение глубокого и искреннего почитания.

Сент-Бёв

На обороте: Графине Эдлинг

Сент-Бёв несколько скромничал: ко времени обращения к Эдлинг он, по меньшей мере, уже шесть лет занимался Канторами¹⁵³. Видимо, Эдлинг выполнила его просьбу с достаточной щедростью, поскольку к этой теме их переписка ни разу не возвращается. Из дальнейших посланий Сент-Бёва явствует еще один оттенок, который приняли их отношения: знакомство стало дружбой или дружественностью, очевидной уже и окружающим и признаваемой ими. Для такой мастерицы оттенков светского общения, как г-жа Рекамье, характерно, что она сочла возможным не самолично отправить к Эдлинг извещение о чтении шатобриановских «Mémoires d'Outre-Tombe», а сделать своим вестником Сент-Бёва.

(4)

[Париж] Суббота вечером [4 января 1840 г.]¹⁵⁴

Сударыня,

У меня остается времени лишь настолько, чтобы поблагодарить вас за книгу и за столь очаровательные слова, какими вы меня подарили, и предупредить вас от имени г-жи Рекамье, что чтение завтра начнется

не в 3 часа, как было сначала сказано, а в 1 час: это обещает нам наслаждение более длительное или, во всяком случае, более близкое.

Примите, сударыня, дань чувств почтительного и преданного сердца.
Сент-Бёв

Вскоре Эдлинг была звана в Abbaye aux Bois и на выступление самого Сент-Бёва: он читал у Рекамье отрывки из «Port-Royal», подготовленные к печати; ему были отведены кануны отдыха, субботы; воскресенья обычно занимал *genius loci*—Шатобриан. Читал Сент-Бёв уже не впервые, и Эдлинг попала на одну из очередных глав; в письме домой под ее пером возникло естественное сопоставление: «Намедни я присутствовала у г-жи Рекамье на чтении «Пор-Роаяля» Сент-Бёва. После оживленного рассказа г. де Шатобриана казалось, словно покидаешь шумную сцену мира для уединения пустыни. Это картина, благородно и строго нарисованная. Испытываешь страх за Сент-Бёва,—как много ведомо ему о путях господних. Труд этот произведет сенсацию, однако, одному богу известно, когда он появится в свет...»¹⁵⁵. Чтение это вызвало Эдлинг на особые размышления о судьбе Сент-Бёва; она писала Эйнару: «Я слушала отрывок «Пор-Роаяля». Это прекрасно, но бог знает, когда это будет закончено. Такой прекрасный природный склад, который обладает интуицией глубоких истин и которым мир швыряется, как ветер листьями, вызывает во мне глубокое сострадание; ни один человек, у которого есть надежда на благородное и полезное умственное поприще, не должен избирать себе местопребыванием Париж. С.-Б. чувствует это, стонет от этого, но привычка и необходимость держат его цепко на этом прокрустовом ложе»¹⁵⁶. Это уже начало ясности. Следя за Сент-Бёвом, она, в самом деле, теперь отчетливо различает его действительную природу. Два месяца спустя она пишет тому же адресату резче и проще: «Здесь все крепче испытываешь грустную уверенность, что ум ветшает и слабеет от такого разбрасывания себя во-вне. Я часто твержу это С.-Б., который отчаивается, что талант в нем убывает, но у него нехватает сил вырваться из положения, в каком он очутился»¹⁵⁷. Швейцарец ответил ей: «Бедный Сент-Бёв! Боюсь, как бы эта борьба не стала роковой для его дарований и способностей».

Таким образом, пришла новая фаза: у Эдлинг испарилось почтение к тому, что она приняла было в Сент-Бёве за разумение «божьих путей»; она видит его уже в душевной наготе и опустошенности; по началу она еще увещевает его, как свидетельствует приведенный отрывок письма; потом прекращает никчемные потуги, и всё обретает должный вид: она принимает его без прикрас и иллюзий, а он становится самим собой, без высоких поз и принужденных личин. Таким он будет до конца ее пребывания в Париже, таким останется в письмах к ней в Россию. К парижской поре относятся еще две небольшие записки:

(5)

[Париж] Пятница [14 февраля 1840 г.]¹⁵⁸

Сударыня,

Уже месяц, как все ложи на первое представление «Клеветы» расхватаны,— вот что сейчас ответили мне, и я вдвойне сожалею—как о том, что вынужден сказать это вам, так и о том, что не могу передать это вам лично: весь этот канун очередного номера «Revue» (14-e!) держит меня пригвожденным к месту.

Тысяча почтительных и преданных выражений внимания.

Сент-Бёв

Взаперти его держали, действительно, гранки для «Revue des Deux Mondes»—священнейшее время, когда он был невидим и недоступен никому: в февральском номере шла статья о Ж.-Ж. Ампере—первая статья о нем Сент-Бёва, которой так ждали в кругу Рекамье и к которой сам он относился тем взыскательнее, что говорил в ней под сурдинку и о самом себе¹⁵⁹. Но всё же то, что он не выполнил просьбы Эдлинг насчет премьеры Скриба,—а интерес к спектаклю возник едва ли не из бесед на эту тему,—свидетельствует, что он не очень старался; сам он на пьесе побывал и откликнулся тогда же на спектакль статьей о драматургической технике Скриба¹⁶⁰; видимо, отношения с Эдлинг настолько упростились, что он разрешал себе не беспокоиться по мелочам. О наступившей будничности говорит и последняя из парижских записок—на тему, эдлинговская прикосновенность к которой способна, пожалуй, удивить:

(6)

[Париж] Сего 19 марта [1840 г.]¹⁶¹

Вот, сударыня, та пачка писем г-жи Санд, которую я на время взял у г-жи де Кастри. Благоволите вскрыть ее, прочесть то, что вам заблагорассудится и что, надеюсь, даст вам отчетливое представление о знаменитой особе,—а потом все запечатайте, дабы никто другой, кроме вас, не прочел этого.

Примите, сударыня, мои сожаления, что я не встретился с вами намеренно, а равно выражение преданнейшего почитания.

Сент-Бёв

И содержание и предосторожности говорят, что Эдлинг становилась сообщницей в поступке, который был, по меньшей мере, неблагоприятен. Интимные письма живой женщины, современницы, врученные скромности и охране человека, числившегося другом, были пущены им для удовлетворения нескромного любопытства светских дам, и Эдлинг не отказалась встать в их ряд.

В распоряжении Сент-Бёва были письма Санд к нему самому и ее письма к Мюссе¹⁶². Санд доверилась Сент-Бёву тогда, когда считала его ближайшим и надежнейшим человеком. У нее была исконная потребность говорить о себе всё и до конца, у Сент-Бёва—исконная жадность к исповедам этого рода. Сама она в письмах к Сент-Бёву называла свою откровенность «mes lâches épanchements»—«моими подлыми излияниями»¹⁶³; но это не мешало ей продолжать свои исповеди, а ему—выслушивать их и приобщать к ним других. Правда, последнее он стал позволять себе позднее, когда между ними потянуло холодом социально-политического характера,—она ушла влево, к демократии и социализму, а он вправо, к общественному индифферентизму и поискам личного благоденствия и, с позиций своей «независимости», обвинял Санд в «партийной узости», губящей ее дарование¹⁶⁴. Встреча с Эдлинг приходится как раз на пору их разрыва, но и примирение с Санд в последующие годы, на платформе «будь каждый при своем», уже не мешало ему распоряжаться ее письмами, как выморочным добром.

Сандовский эпизод освещает заключительную пору эдлинговских встреч с Сент-Бёвом. Роксандра Скарлатовна освоилась и прижилась в известном парижском кругу. Она вошла во вкус его любопытств и интересов. Когда настало время отъезжать, она отправилась в новороссийские свои

поместья «нагруженная анекдотами и воспоминаниями», по ее выражению. Она старалась не порвать нитей. Ей хотелось продолжать издали слушать шум парижской жизни. В этом ей помог Сент-Бёв. Она из Манзыря глядела на Париж его глазами. Со Свечиной она уже не переписывалась,—было не о чем и не к чему; лишь незадолго до смерти матриониальные заботы об опекаемой племяннице заставили ее обменяться со старой подругой соображениями о возможном жениховстве одного из свечинских родственников¹⁶⁵. Сент-Бёва же она понимала вполне: имена и дела в его письмах она расшифровывала с тонкостью, к которой приучили его беседы с ней, всегда скупые на прямые высказывания и щедрые на отрывистые пометки, уклончивые едкости, иносказательные разоблачения, какими,—записывают Гонкуры в «Дневнике»,—он облеплял человека, о ком говорил, словно муравьи—труп, оставляя от него к концу беседы чисто объединенные кости. Его письма к Эдлингу в Россию таковы же; они того же склада, что письма к супругам Оливье, к Теодору Пави, к Ульриху Гуттингеру и Колломбэ,—письма-обзоры, которые надо уметь читать замедленно, видя за верхним слоем нижний и слыша не только то, что Сент-Бёв говорит, но и то, что он подразумевает. Это становится его манерой даже в статьях. Он теперь упорно сопровождает тексты, особенно в переизданиях, петитными сносками, примечаниями, постскриптумами, где под сурдинку корректируется то, что сказано в парадном корпусе страницы; в этом подвальном этаже и живет его подлинное мнение. Он даже раздваивается: публично печатает одно и анонимно—другое; он направляет подписную статью, хвалебную или сдержанную, в «*Revue de Deux Mondes*» и анонимную заметку, едкую или бранчивую, в «*Revue Suisse*»; так, в письме к Эдлингу он помянет, например, «Жизнь Рансе»—последнюю старческую работу Шатобриана; он посвятит ей почтительно-лестный отзыв в парижском «*Revue*» и откровенно поносные строчки в «*Revue Suisse*». Золя назвал эти навыки Сент-Бёва «искусством удушать людей, обнимая их»¹⁶⁶. Целый том составил из таких статей, направляемых им втайне к Оливье,—и, не заглянув в «*Chroniques parisiennes*», так же нельзя узнать его действительных мнений о современниках, как не вчитываясь в его сноски внизу страницы или не сверяясь с пометками сокровенных записей. Получатели писем должны были, читая, слышать оттенки его голоса, припоминать слова его бесед. Для Эдлинга это было тем проще, что каждое упоминаемое в письмах имя она могла обставить доброй толикой анекдотов, наблюдений, сведений, и в ее памяти живой вереницей проходило то, что ныне перед читателями пройдет в виде наших помет и примечаний.

Письма Сент-Бёва стали появляться лишь спустя несколько месяцев. Он ждал напоминаний. Он получил их. Первое письмо было отправлено в начале 1841 г.,—этот год богаче всего его посланиями; вообще же он оказался нещедрым.

(7)

Париж, 18 января 1841 г.¹⁶⁷

Сударыня,

Со дня вашего уже столь давнего отъезда до меня не раз доходили краткие вести о вас. Вас видели в Эмсе, вы промелькнули в Веймаре. Со времени вашего приезда в Одессу я узнал, что в письмах, присланных вами сюда, вы были любезны упомянуть обо мне. Я и сам не раз вспоминал вас, сударыня, и те послеобеденные часы, которые я время от времени украл беседой с вами.

Париж и Франция со времени вашего отъезда стали весьма воинственными; однако, еще можно жить здесь, не слишком замечая это. Прибытие отца Лакордэра¹⁶⁸ стало кое-каким событием; он одет во всё белое и в таком виде разгуливает по нашим грязным улицам, подобно ангелу, только что сошедшему с облаков. Один из моих друзей утверждает, что для полной иллюзии ему недостает только пальмовой ветви в руках. С поведенью он еще не выступал.

Вам были бы очень интересны лекции по славянской литературе, которые читает в «Коллеж де Франс» Мицкевич. Он щегольнул таким беспристрастием, что и русские могут слушать его: он говорит для всего славянского племени¹⁶⁹. Г-жа Кислова[?] редко пропускает их. А ваше место пусто, сударыня, как показалось мне в редкие дни моих посещений.

Г-жа Санд обычно бывает на этих лекциях. За это время у г-жи Рекамье больше не состоялось чтения мемуаров г. де Шатобриана. Все сейчас очень заняты предстоящими выборами в Академию, куда выдвигает свою кандидатуру превосходнейший Балланш. Когда вы получите это письмо, вопрос уже будет решен. Соискателем выступает г. Ансло, и он, пожалуй, одержит верх над нашим философом. У госпожи Ансло хлопот полон рот¹⁷⁰.

Однако, я утомляю вас, сударыня, нашими мелкими сплетнями. Вы отдыхаете в благословенной тиши своих поместий. Не откажите изредка вспоминать о том, чьи помыслы вы покорили своей снисходительной благосклонностью. Мне очень хочется воззвать к ней и просить вас прислать мне, в знак памяти, несколько выдержек из имеющихся у вас писем графа Жозефа де Местра, выбранных по вашему усмотрению. Не знаю, воспользуюсь ли я ими когда-нибудь, но мне было бы приятно быть вам обязанным за них, особенно, если их будет сопровождать несколько строк от вас.

Примите, сударыня, искренние уверения в моих почтительнейших и преданнейших чувствах.

Сент-Бёв

Улица Монпарнас, № 1.

Заключительная просьба о местровских письмах должна была прийти Эдлинг как нельзя более по сердцу: она опять была погружена в свои архивы; она занималась в эту пору крюденовскими материалами для Шарля Эйнара, переписывалась с ним, посылала ему рекомендации к владельцам бумаг и обладателям воспоминаний о Крюденер. Пожелания Сент-Бёва дали ей повод одновременно заняться и просмотром, оценкой, выборкой местровской корреспонденции. Кое-что она аннотировала тут же, кое-что оставила до повторной встречи с критиком, ибо помышляла о новой поездке в Париж. Она снабдила отобранную пачку писем, «которые тщательно сберегла признательная дружба», кратким введением. Сохранился его черновик; он не до конца сведен воедино, — в нем почти дословны повторения того, что уже было написано ею в мемуарах, но официальный тон и литературная тщательность свидетельствуют об эдлинговских надеждах увидеть свои строчки в печати. Доверить документы почте она не решилась; надежная оказия представилась с поездкой ее супруга за границу для лечения. С ним отправились местровские копии; предварительно же она послала Сент-Бёву письмо, помеченное Одессой, 1 мая 1841 г.

«Пользуясь отъездом г. Эдлинга на воды в Германию, посылаю вам собрание писем графа Жозефа де Местра, которые вы желали получить. Эти письма познакомят вас с ним в его домашнем виде (*en deshabillé*); я доверяю их вам под условием, что вы сохраните их только для себя, не назовете никогда моего имени и после того, как извлечете из них всё то, что вам понадобится,—бросите всю связку в камин. В ней есть кое-какие светские намеки, для которых нужен ключ. Быть может, я еще буду иметь вновь удовольствие лично побеседовать с вами об этом. Я пишу вам эти строки только в виде извещения о посылке, собираясь снова взяться за перо, когда отправлю ее вам. Я рассчитываю перебраться через несколько дней к себе в деревню и оттуда напишу вам. Хотя вы и живете в Париже, воспоминание о вас очень хорошо сочетается с уединенными полями и напряженной умственной жизнью—одним из главных условий пребывания в деревне. Прощайте же. До свидания—не только в письме, но и в действительности, на улице св. Доминика, при первой же возможности»¹⁷¹.

Что такое дискретность Сент-Бёва, было известно Эдлинг хорошо вообще, а на примере писем Жорж Санд—в частности. Дело было, видимо, не в этом, а в натянутости отношений с кругом Свечиной, который должен был встретить публикацию, как двойное посягательство, как *lèse-majesté* по отношению к Местру и *lèse-amitié* по отношению к Свечиной; Эдлинг как бы формально слагала с себя ответственность за печатное использование местровской корреспонденции *en deshabillé*, как выразилась она в письме. Оно еще не дошло до Сент-Бёва, когда получено было письмо, направленное им в Одессу и являвшееся откликом на предыдущее—видимо, первое после Парижа—послание Эдлинг.

(8)

[Париж] Сего 16 июня 1841 г.¹⁷²

Сударыня,

Любезное письмецо ваше, дошедшее до меня после ряда месяцев блужданий, я получил еще несколько недель назад; оно, повидимому, разошлось с письмом, которое свидетельствовало, сударыня, о том, что воспоминание о вас не столь стерлось, как вы того словно опасаетесь; впрочем, нет!—уверен, что вы не верите этому; вы, конечно, не сомневаетесь в том, что ваше пребывание здесь оставило привлекательный и очень живой след в сердцах у тех, кому была дана радость общения с вами, как если бы это было нечто исконное, усвоенное и прочное. Зачем же то, что казалось столь приятным, столь доступным, столь естественно-нашим со вчерашнего дня и точно бы уже много лет, должно было вдруг ускользнуть из наших рук, так что нужно, колеблясь, отправляться чуть ли не на край света, дабы вручать и испрашивать нечастый знак памяти? Со времени вашего отъезда здешнее общество пережило не мало бурь, в о з д у х то и дело сотрясался от грома, но теперь всё уже затихло, и вы не нашли бы почти никаких перемен.

Чтения у г-жи Рекамье будут вновь происходить по установленным дням; в прошлом месяце состоялось таких два: они были посвящены «Детству» и «100 дням». Слушатели, тещы (г. Ампер и г. Ленорман), произведенное впечатление,—всё было таким же, как при вас; я же думал о том, что ваше место пустует.



ДЕ ЛА ФОН
Портрет маслом Анри Гаскара, 1680-е гг.
Эрмитаж, Ленинград

Самой большой новостью, которую я должен сообщить и разъяснить вам, является, пожалуй, то, что я получил должность; я обязан ею 1-му марта и отдался на волю событий. Я—один из библиотекарей Библиотеки Мазарини¹⁷³. С тех пор, как я, таким образом, получил материальную обеспеченность, я чувствую себя нравственно очень скверно: я утратил ощущение свободы, жду какого-то освобождения, которое не явится никогда. Мне кажется, словно я посажен в клетку у Моста искусств¹⁷⁴.

Как далеко до Одессы, сударыня! Когда я прохожу по улице св. Доминика, меня всегда тянет войти, как бывало, в известный вам отель. Я много беседовал о вас этой зимою с Шарлем Эйнаром, который гостил здесь.

В «Revue des Deux Mondes» появилась статья о Каподистрии, весьма нас огорчившая; я не смог воспрепятствовать ее появлению; французская политика сочла себя заинтересованной, и, после ряда закулисных воздействий и запретов, статья прошла¹⁷⁵.

Г-н де Ламеннэ, от знакомства с которым вы уклонились, все еще в тюрьме; как вам известно, он был приговорен к году тюрьмы за нарушение законов о печати. Думается, что весьма дурно со стороны правительства, имеющего в своих рядах гг. Гизо и Вильмэна, держать его в тюрьме полный срок. Его надо было в мае выпустить на травку. Ум никогда не должен быть безжалостным противником Ума¹⁷⁶.

Достаточно разумная и весьма положительная г-жа Санд уезжает к себе в Берри, заканчивать небольшой роман для «Revue des Deux Mondes»¹⁷⁷. Г-н Гюго недавно принят или посвящен в академики; и тут, как всегда, он сумел вызвать вокруг себя целое сражение. Г-н де Сальванди пожал успех в тот же день и на том же заседании. Но при чтении мнения все еще делятся, и борьба не прекратилась¹⁷⁸. Знак памяти от вас, сударыня, так драгоценен и лестен, что, смею надеяться, вы не откажете мне в нем и в дальнейшем.

Прошу вас принять, вместе с благодарностью, и почтительнейшие, преданнейшие мои чувства.

Сент-Бёв

Р. С. Веймарский канцлер Мюллер сейчас здесь¹⁷⁹.

Улица Монпарнас, № 1.

Тем временем добралась до Парижа и эпистолярная посылка Эдлинг. Сент-Бёв оповестил ее об этом не сразу, а через полтора месяца; в его ответном письме есть косвенные извинения за промедление; больше того, обычно такой жадный к возможностям публикации неизвестных автографов большого человека, он на сей раз отступился: он не знал, как принять за этот материал,—его позднейшие признания прямо говорят об этом. Он решил пока отговориться перед Эдлинг текущей своей занятостью.

(9)

Париж, 4 августа [1841 г.]¹⁸⁰

Едва только последнее мое письмо отправилось в Одессу, как я должен был бы почти тотчас же выразить вам, графиня, живейшую признательность за письма, столь тщательно переписанные и такие драгоценные. Я прочел их и неоднократно перечел снова; я весьма ясно понял, что в них следует приписать чисто светской благовоспитанности; во всяком

случае, я поступил, как обычно в разговоре, когда, еще не все понимая, оставляешь без внимания часть сказанного; но от меня не ускользнула ни одна из прекрасных и тонких мыслей, разбросанных на каждой странице. Мне было также чрезвычайно приятно увидеть, узнать в них облик женщины, с которою я встретился, к сожалению, слишком поздно, и перенестись, таким образом, к годам ранней и нежной юности; такую именно я и представлял ее себе, подумал я. Так это и оказалось, сударыня,—я увидел вас в этих письмах воочию.

Все ваши указания будут свято выполнены. Однако, я не думаю, что смогу заняться портретом г. де Местра в ближайшие месяцы, ибо должен раньше издать второй том моего «Пор-Роаяля» и покончить с его великой заботой—Паскалем¹⁸¹.

Парижский свет сильно поредел; однако, знаю, что г-жа Свечина всё еще здесь и собирает у себя осколки изысканного общества, еще пребывающие на улицах Сен-Жерменского предместья. Но г. де Шатобриан уже на водах в Нери, г-жа Рекамье—в Шатне у г-жи Боань (Boigne), г-жа де Розан—у себя в Нормандии. Все разбрелись. Канцлеру Мюллеру, которого я имел удовольствие видеть на одном из вечеров у г-жи Рекамье и который прослушал кусочки «Мемуаров», пришлось с нами расстаться; он передал мне несколько весьма лестных слов, слышанных им из уст герцогини Орлеанской. Соединив их с тем, что дошло уже до меня через вас, я был очень тронут и даже решился написать стихотворное приветствие, которое и посылаю вам, дабы хоть один человек знал, что оно написано, и надеюсь, что вы не откажетесь быть его хранительницей. Со временем, когда вы, сударыня, вернетесь к нам, вы не откажетесь лично поднести его, и это принесет ему счастье. Но поистине досадно, что нельзя почтительно поблагодарить любезнейшую из женщин только потому, что она—принцесса¹⁸².

Несмотря на шумиху, которую пытаются устроить некоторые газеты, я вижу, что все весьма спокойны и что, впредь до изменений, все последствия министерства 1 марта изжиты; вернулось как бы положение 15 апреля; но мы—народ взбалмошный и изменчивый, а потому ни за что ручаться нельзя.

У г. де Ламартина умер один молодой человек, которого он очень любил,—г. де Пьеркло; говорят, это был его сын.

Любезнейший г. Ампер уехал с г. Ленорманом в Грецию; не знаю, доедет ли он до Константинополя, но знаю, что, если бы он довез меня туда, я не удержался бы и поплыл бы в Одессу, хотя бы и против течения¹⁸³.

Вы оставили по себе, сударыня, воспоминание, какое суждено далеко не всем; недавно, когда я произнес ваше имя при г-же Рекамье, она сразу же стала расспрашивать, действительно ли я получаю от вас вести и каким образом, и тотчас же о вас зашел задушевный и оживленный разговор, в котором все приняли участие.

«Она была так естественно близка нам,—говорили все,—так по ним а л а всё, словно мы расстались с нею лишь накануне».

И все же поверьте, сударыня, что есть люди, вспоминающие вас с еще большей задушевностью и с особой признательностью; им будет дорог каждый знак вашего внимания.

Благоволите принять выражение почтительнейших моих чувств.

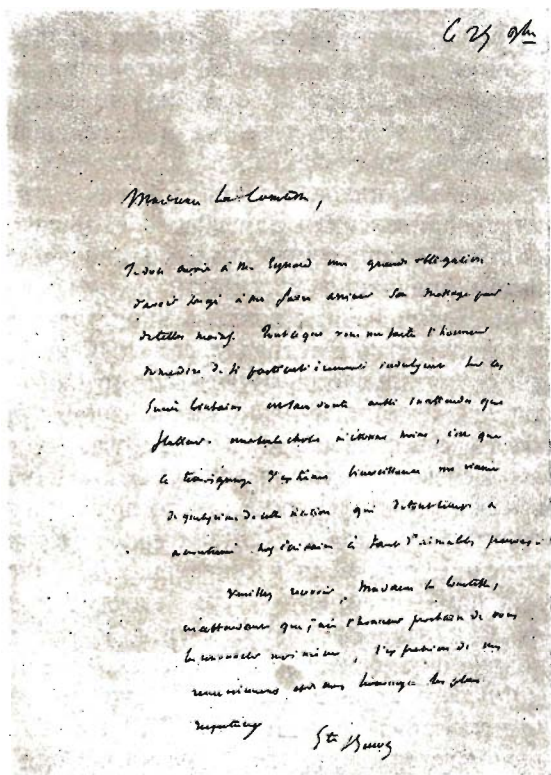
Сент-Бёв

К письму был приложен листок:

ГЕРЦОГИНЕ ОРЛЕАНСКОЙ

В дни юности, когда так вольнодумен каждый,
По маломыслию, я троны презирал,
Но сквозь ограду я проник к дворцу однажды
И доблесть, грацию, ученость увидал.
И вот, сударыня, меня берет досада,
Что ваш высокий ранг—для чувств моих преграда,
Что дочери королей не смею я сказать,
Как ею я пленен, как перед ней немею:
На слово, ласково обретенное ею,
Ответ мой рвется с уст,—но должен я молчать!

Эти альбомные вирши (наш перевод тут неповинен, он хранит верность подлиннику), свидетельствующие лишний раз о снисходительности Сент-Бёва к каждому своему стихотворному детищу, останавливают внимание другой, более важной чертой. В общественное поведение Сент-Бёв уже переносит свои литературно-критические навыки: гласные бутады по адресу Орлеанов сопровождаются негласными комплиментами в ту же сторону, поисками связей с королевской семьей¹⁸⁴; совсем так же в письме обставляется вздохом обретение желанного места в Библиотеке Мазарини, и так же потом Сент-Бёв «еще поморщится немного, как пьяница перед чаркою вина», перед креслом во Французской академии и местом в императорском Сенате; потому-то избрал он столь сложный путь



АВТОГРАФ ПИСЬМА СЕНТ-БЁВА
К Р. С. СТУРДЗЕ-ЭДЛИНГ ОТ
25 НОЯБРЯ 1839 г.

Институт литературы Академии
наук СССР, Ленинград

Одесса—Манзырь, чтобы вручить свое десятистишие супруге наследника французского престола. По всем его трем письмам к Эдлинг 1841 г. проходят прямые свидетельства усиливающегося безразличия Сент-Бёва даже к большим делам страны, его нарочитого замыкания пределами литературных происшествий, академических новостей и салонных тревог. Он трижды упоминает—и трижды иронически—о «воинственности, обуявшей Париж и Францию», о «бурях, сотрясающих общество», о шумных кампаниях прессы. Однако, даже «блаженный Балланш» в том же кругу и в ту же пору сумел противопоставить свои шестьдесят пять лет тридцати семи годам Сент-Бёва и свое волнение его скептицизму. «Положение меняется,—тревожно пишет он Рекамье,—Англия играет весьма козырную роль, зато мы играем во всем этом роль весьма жалкую. Я очень боюсь, что мы прикасаемся к событиям, важность которых нам не под силу будет уменьшить»¹⁸⁵. Шли, в самом деле, события международного масштаба, в которых родина Сент-Бёва была поставлена в унижительное положение, вызывавшее горечь в обществе, грозы в парламенте, смены в правительстве, но терпимое и покрываемое в династических интересах Луи-Филиппом: коалиция держав, возглавляемая Англией, грозя войной, заставила трусливого короля поступиться жизненными интересами французской политики на Ближнем Востоке, предать союзника, сирийско-египетского пашу, подчиниться указке Пальмерстона, потерять престиж и влияние; торжественная перевозка праха Наполеона со св. Елены в Париж, пышно разыгранная в декабре 1840 г. королевской семьей, лишь оттенила унижение от международных пощечин, испытываемое обществом, но не чувствуемое Сент-Бёвом; он глядел на это посторонним зрителем и приглашал русскую приятельницу разделить насмешку над волнениями его соотечественников.

Покой, умеренность, благопристойность во всем и любой ценой—*du somme il faut* в онегинской интонации—обуславливают теперь его вкусы и суждения, и это проступает в письмах к Эдлинг везде, где только его перо прикасается к лицам и делам общественной значимости, будь то удовлетворенное замечание о застойной тишине «положения 15 апреля», сменившей, наконец, беспокойную активность «министерства 1 марта», или неприязненная пометка об излишнем шуме, вызванном вступлением Гюго во Французскую академию, которое, в самом деле, прошло не тихим актом признания маститости поэта, а громогласным событием, отмеченным столкновением поэта и министра в речах торжественного заседания и отраженных в тетрадях самого Сент-Бёва записями редкой, даже для него, брутальности: «Итак, Виктор Гюго—в Академии. Ну что ж, пусть так: Академии нужно, чтобы время от времени ее изнасиловывали»; «Гюго, с вечной позой г и г а н т а, сменил в Академии лишь Лемерсье, а имеет вид, точно он занял место Наполеона, столько наговорил о нем в своей речи»¹⁸⁶. Это не просто вспышка злобы,—зрелого Гюго он уже не понимал; у него и в литературных делах разрасталось то странное чувство недружелюбия к современникам, нарушающим средние рамки, к великанам живой литературы, которое приводило его к отрицанию Бальзака, к непониманию Стендаля, к умалению Флобера,—если упоминать только о наибольших из больших,—и которое вызвало в письме Гонкуров к Флоберу страшное слово: «Вы же знаете его злобствования против всего, что смеет быть высоким» (*ce qui tente d'être haut*)¹⁸⁷. Он обретал свойства великого критика, как выразился Золя, только с мертвыми: в царстве

теней он допускал существование гигантов; там он проявлял проникаемость суждения, всесторонность понимания, безошибочность оценки, окончательность приговора. Он тоже был, говоря знаменитыми словами Бональда, из числа «пророков прошлого».

В последующих письмах к Эдлинг этот упрямый вкус к «*juste-milieu*» в современности почти не таит себя; он окрашивает упоминания всех сколько-нибудь знаменитых имен—Ламартина, Санд, Ламеннэ, Мишле—и открыто заявляет о себе в той позиции, какую Сент-Бёв занимает в новой распре, охватившей французское общество,—в войне университета с иезуитами. Однако, все эти отражения отрывочны. Писать Эдлинг он стал совсем не часто. Парижские воспоминания остыли. Собственных побуждений писать он уже не чувствует. Он откликается раз в год на полученный привет, напоминая и опять ждет год, чтобы взяться за перо. Так, за два года приходят от него два письма. Они—последние.

(10)

Париж, 16 ноября 1842 г.¹⁸⁸

Сударыня,

Я был чувствительно тронут, получив от вас знак памяти, и получив его из столь прекрасных мест. Я не преминул передать нашим друзьям из *Abbaye aux Bois* все указанные вами поручения. Я прочел г. Шатобриану отрывок из вашего письма; он вам за него благодарен. Его здоровье хорошо—кроме ног, которыми он почти не владеет. Г-жа Рекамье часто хворает. Люди стареют, сударыня, по сю сторону Босфора! Наднях ради г-жи де Пасторе состоялось чтение нескольких глав «Мемуаров», которых она еще совсем не знала. С тех пор, как вы нас покинули, в обществе не произошло существенных перемен. Несколько проповедников, модных в то время, уже утратило славу; выше всех сейчас ценится г. де Равиньян¹⁸⁹. Одна из проповедниц, о которой вы, несомненно, слышали, княгиня Бельджойозо (из Милана), только-что издала на французском языке ценный труд: «Опыт истории развития католических догматов». Г-жа Свечина (если она переписывается с вами), вероятно, не умолчала об этом. Доселе княгиня не подавала повода ждать, что вдруг проявит себя доктором богословия, и притом столь же основательным, сколь и тонким¹⁹⁰. Вы, сударыня, сможете судить об этом лучше нас. Такие книги созданы именно для людей, проводящих жизнь, подобно вам, в созерцании и высоких размышлениях. Здесь же все очень легкомысленны; все страдают от цепи, и, однако, никто уже не почувствовал бы свободы, даже если бы и получил ее. Все это—старые горести, о которых я не раз беседовал с вами и к которым вы, сударыня, всегда относились со снисходительным вниманием, давая нам благостные советы. Г-н де Ламеннэ продолжает свои писания: это какие-то диалоги, в которых выступают персидские духи и где аллегорически, но очень схоже, изображены всевозможные здешние деятели. Г-н де Шатобриан, слышавший чтения, говорит, что они очень остроумны, но в то же время излишне сатиричны и туманны в намеках¹⁹¹. Г-н де Ламартин, пользуясь парламентскими каникулами, не устает на все лады развивать свою вечную тему «общечеловечности»—на банкетах, на заседаниях муниципальных советов, при любом удобном случае. Окончание его непомерной поэмы, повидимому, навсегда отложено¹⁹².

Жорж Санд тоже более, чем когда-либо, погружена в общечеловеческое; она называет это в е р о ю. «С тех пор,—заявила она недавно,—

как я обрела радость веры, я больше не стареюсь». Кое во что и даже кое в кого она еще долго будет верить. Однако, все это по-парижски легкомысленно. Могу еще сообщить вам, сударыня, что M-lle Рашель, которую вы так мало видели, попрежнему вызывает восторги у высшего общества и что ее чисто литературный успех, повидимому, не затихает¹⁹³. Право, она менее комедиантка, чем многие наши знаменитости,—аббат Лакордэр решительно сошел на-нет. Тут виною—его неодоминанские заблуждения.

Но вот я и заболтался, словно вы можете ответить мне и словно у меня избыток места для разговора о серьезных вещах, возникающих вместе с мыслью о вас, и для выражения почтительнейших чувств, с которыми я пребываю к вам.

Сент-Бёв

Адрес: Французский институт

Тайный яд Сент-Бёва направлен, как видим, в две противоположные стороны: в край налево и в край направо; налево—в литературных вожаков республиканской оппозиции всех поколений и оттенков,—право-республиканской, как Ламартин, католико-демократической, как Ламеннэ, социалистической, как Жорж Санд; для Сент-Бёва всё это—одна «партия», «демократия», которая плоха тем, что она притязает на «общечеловечность» (он дважды издевается над этим); неугомонный, красующийся всегда на виду, декламирующий о братстве и свободе Ламартин был ему теперь особенно ненавистен: Ламартин—«grand dadais», «великовозрастный балбес»,—наслаждается он бутадой Шатобриана,—«комета с блестящим хвостом, но без ядра»; «Паганини политики»; «первый из политических шарлатанов и литературных ремесленников»¹⁹⁴ и т. д.; Санд—«эхо, отражающее чужой голос, но не имеющее собственного»; «кабинетная Христина шведская, уверенная, что никогда не узнают правды и фраза в итоге возьмет верх»¹⁹⁵; Ламеннэ—«судно, захваченное взбунтовавшимися каторжниками и ставшее пиратским»; «злбный ребенок с заряженным ружьем, которое управляет им»¹⁹⁶ и т. д. Вправо его удары реже, мягче, беспредметнее: ему как бы не в кого бить; больших людей он здесь не видит вообще, поскольку Шатобриан—это уже лишь тень, во-первых, и аристократия не у дел, во-вторых; Сент-Бёв удовлетворяется язвительными намеками по адресу Лакордэра, Монталамбера, Казалеса и т. п. величин второго сорта—«учеников от природы»¹⁹⁷—и общим прогнозом надвигающегося упадка католицизма во Франции; потому-то его раздражает шумная борьба с иезуитами, тем более ненужная, что ее ведет всё та же демократия и ее возглавляют люди типа Кине и Мишле, особенно нестерпимый Мишле—«один из самых зловредных, самых болезнетворных для общественногo здравомыслия писателей»; «плоский от природы»; «хам, нарядившийся щеголем»¹⁹⁸,—между тем как всё образовалось бы само собой, в тишине и пристойности, поскольку иезуитизм наносен, ультрамонтанство—секта, а национальная галликанская церковь умирает. Этой-то темой он заполнил свое последнее письмо к Эдлинг,—столько же потому, что считал вопрос близким ей по былым местровским делам в Петербурге и по коллизиям со свечинским кругом в Париже, сколько и потому, что сам только-что писал об этом в «Revue Suisse» и, собственно, лишь перебелил свои заметки для Эдлинг, связав их с извещением, что старый его долг ей, наконец, оплачен и статья о Жозефе де Местре, использовавшая ее архив, напечатана.

Р. С. СТУРДЗА-ЭДЛИНГ В СТАРОСТИ

Литография 1846 г.



(11)

Париж, 8 августа [1843 г.]¹⁹⁹

Сударыня,

Я с большим удовольствием получил ваше письмо, такое любезное и принесшее мне знак памяти от вас и мелодичные, прочувствованные стихи, которые приложены. Не откажите передать автору мои скромные поздравления. Сожалею, что в моем распоряжении нет журнала, дабы тотчас же напечатать прелестное стихотворение о двух Лебедях, Незнакомку.

Постараюсь поместить их в «Revue de Paris», хотя это зависит отнюдь не от меня. Да, сударыня, Париж горит большим и ярким пламенем, спора нет,—но это не столько свет факела, сколько смятение, чад и вихрь пожара или же пламя в камине. По крайней мере, часто это именно так. Все спешат, все толкаются, все душат друг друга. Скромные, непритязательные заслуги легко могут остаться незамеченными; их истинная отчизна—в избранных сердцах, способных оценить их, а такие сердца можно встретить здесь на улицах Севр или св. Доминика, либо же в тех далеких пустынях, которые вы превращаете в благословенные убежища. Право же, страну Анахарсиса вы вновь освещаете тем светом, который был некогда позаимствован в Элладе и который вы возвращаете в еще большей чистоте, после того, как апостол Павел побывал там.

Последнее время я много внимания уделял вам; я, наконец, напечатал так долго откладывавшуюся статью о графе де Местре и пришел, в итоге, к тем же выводам, что и вы. Вы, вероятно, читаете «Revue des Deux Mondes», и мне бы очень хотелось, чтобы эти статьи пришлись вам по вкусу и чтобы вы не сочли, что я плохо использовал тот богатый материал, который вы предоставили в мое распоряжение. Главную свою задачу я видел в том, чтобы читатель, независимо от своих убеждений, получил правильное представление об этом человеке²⁰⁰. Религиозное движение за последнее время здесь весьма бурно развивалось, даже

слишком бурно; все хорошее легко портится, как только становится модным. Успехи клерикальной партии, сказавшиеся за последние два года, зародили в ней пыл и отвагу; она почувствовала себя достаточно сильной для дерзаний,—и в итоге возникла досадная полемика. Резкие оскорбления, допущенные некоторыми клерикальными газетами, в частности, «Univers», по отношению к некоторым почтенным писателям, вызвали не менее резкие ответы. Г-да Кине и Мишле в своих лекциях в «Коллежде Франс» обвинили иезуитов в том, что они стремятся вновь завоевать прежнее положение во Франции. Лекции эти они издали отдельным томом [зачеркнуто: произведением], озаглавленным «Иезуиты», и в течение двух недель книга выдержала четыре издания²⁰¹. Это может дать вам, сударыня, представление о живучести некоторых проблем, которые считались окончательно отмершими. Думаю, что ваш друг, г-жа Свечина, должна сожалеть об этой распре, омрачившей успехи дела, которое до тех пор развивалось действенно и кротко, по путям, указанным христианством. Г-н Лакордэр весьма замешан во всех этих размолвках; при всем таланте он, вообще, недостаточно рассудителен, недостаточно сдержан, а став монахом, он и вовсе сделался орудием в чужих руках²⁰². Главное же состоит в том, если подняться над преходящими событиями, что галликанской церкви во Франции больше не существует. Эта древняя национальная [зачеркнуто: французская] церковь, которая была католической, и в то же время не слишком римской, и которая возникла в отдаленнейшей древности, была умерщвлена во время Французской революции; с тех пор она поднялась вновь, на мгновение, лишь в лице отдельных священников и прелатов, из которых ни одного сейчас не осталось в живых. Верующая католическая молодежь, не находя во Франции центра для объединения, очень легко становится разом ультрамонтанской и даже отчасти иезуитской. Было бы весьма удивительно, если бы в стране, подобной нашей, такая доктрина могла вызвать что-либо, кроме временного увлечения и окончательного отпора. Мне кажется, что если так будет продолжаться, то католичество (между нами говоря) выродится скорее в с е к т у, в большую французскую секту, чем станет религией, действительно заслуживающей этого названия. Впрочем, у будущего много возможностей и тайн²⁰³. Г-н де Казалес еще не вернулся из Рима, где принял священство²⁰⁴. Г-н де Монталамбер уже год, как находится на Мадере со своей молодой женой, страдающей чахоткой, и пишет житие св. Бернара. Таким образом, на общественной арене видно мало громких имен этого лагеря. Г-н де Ламеннэ все больше и больше сближается с демократическим движением, сделавшим за последнее время значительные успехи²⁰⁵. О г. де Ламартине скажу следующее: досада, денежные затруднения, не способствующие хладнокровию, честолюбие, пробужденное возможностью наступления регентства, наконец, недостаточная гибкость наших правителей,—всё это толкнуло этот благородный ум в ряды людей мало его достойных, и он растрчивает там свой дивный талант, а что еще хуже,—общественное уважение. Он уже никогда не восстановит себя во мнении людей действительно разумных и политических после необъяснимого volte-face своего последнего отступничества²⁰⁶. Г-н де Шатобриан вернулся с Бурбонских вод; я его еще не видел. Он, кажется, собирается в траппистский монастырь, чтобы вдохновиться там и, по возвращении, закончить последние главы жизнеописания аббата де Рансе; начало он уже читал в Abbaye aux Bois²⁰⁷.

Я исполнил, сударыня, ваши милые поручения, прочтя в свое время в «Аббатстве» ваше письмо, присланное с Босфора.

Примите, сударыня, выражение моей почтительнейшей преданности и благоволите удостоить меня знаком памяти, которые мне так приятно получать.

Сент-Бёв

На местровской теме, на иезуитски-католических делах, переписка с Сент-Бёвом оборвалась—как четверть века назад с автором «*Soirées de Saint-Pétersbourg*». На сей раз ее оборвала не размолвка, а уход из жизни одного из корреспондентов. В обоих письмах Сент-Бёва упоминается эдлинговское послание с Босфора. Она, в самом деле, почувствовала особую, предсмертную тягу к месту, где родилась. Она совершила путешествие в Константинополь. Это было последнее ее паломничество. В 1844 г., в самом его начале, 16 января, она умерла. Для Сент-Бёва же еще только приближались кануны огромного рабочего двадцатилетия «*Causeries du Lundi*». О кончине Эдлинг он узнал не скоро; прошел почти год, пока до него добралось это известие. Оно оказалось для него небезразличным. Эдлинг занимала уже какое-то постоянное место в его внимании и связях,—сообщение о ее смерти вызвало его на отклик: в письме к Шарлю Эйнару, посланном 8 августа 1844 г.²⁰⁸, он просил рассказать ему, как всё это произошло. А спустя полтора десятилетия, в 1861 г., когда публикации писем и бумаг Свечиной возбудили в нем желание дать отпор ее канонизаторам, он вызвал свидетельницей себе в помощь тень той, чьим другом отрекомендовался читателям и кого назвал ласковым именем: «*charmante Roxandre*»—«очаровательная Роксандра».

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Они были изданы под заглавием: «*Mémoires de la comtesse Edling (née Stourdza), demoiselle d'honneur de sa majesté l'impératrice Elisabeth Alexéevna*», Moscou, 1888.

² Архив Р. С. Стурдзы-Эдлинг хранится в Пушкинском доме Академии наук СССР, в Ленинграде. Научная разработка архива была начата Г. А. Гуковским, указавшим редакции «Литературного Наследства» на французские литературные материалы, в нем хранящиеся, и уступившим возможность их публикации в настоящем издании.

³ Edling, *Mémoires*, 3—5.

⁴ Ibid., 18, 106.

⁵ Edling, *op. cit.*, 47—48. О В. Н. Головиной—см. М. Степанов, Жозеф де Местр в России.—№ 29—30 «Литературного Наследства»—«Русская культура и Франция», I, 606—608.

⁶ Ростопчин писал С. Р. Воронцову: «Два человека, которым больше всего удалось испортить первоначальный характер императора,—это Ла-Гарп и фрейлина Стурдза, один—своими революционными принципами, ведущими народы к несчастью, а государей к эшафоту, другая—своей корреспонденцией 1814 г. Получив задание шпионить («*chargée d'espionner*») за императрицей Елизаветой и не зная, о чем писать, она вступила в немецкое мистическое общество, и именно она возбудила вкус к г-же Крюденер и пристроила в России Штиллинга, сына пресловутого и знаменитого мистика, апостола мартинистов».—Архив кн. Воронцова, 1876, кн. VIII, ч. I, 409—410.

⁷ Edling, *op. cit.*, 22; см. также М. Степанов, *op. cit.*, 590—591.

⁸ «Записки адмирала Чичагова, заключающие то, что он видел и что, по его мнению, знал».—«Русский Архив», 1886—1888.

⁹ Ср. «Записки, мнения и переписка адмирала Р. С. Шишкова», Берлин, 1870, I, 84.

¹⁰ Sainte-Beuve, Joseph de Maistre.—«*Portraits littéraires*», II, 425: «При жизни он не создал школы; он оказывал лишь отдельные редкие влияния».

¹¹ Edling, *op. cit.*, 23—24.

¹² Ф. Вигель, Записки, ч. VI (цит. по изд. 1928 г., II, 224—225). Ср. В. Надлер, Имп. Александр I и идея Священного союза, 1892, V, 330: «Предпочтение, которое отдавал император девице Стурдзе, основывалось не на каких-либо ее внешних преимуществах, так как Стурдза была некрасива собой... а единственно на ее редких душевных качествах». Ср. также отзыв о Р. С. Стурдзе по воспоминаниям Каролины Фрейштат—В. кн. Николай Михайлович, Имп. Елисавета Алексеевна, супруга имп. Александра I, 1909, III, 410.

¹³ Sainte-Beuve, op. cit., 424.

¹⁴ Цит. по первому изданию: «Les Soirées de Saint-Petersbourg, ou Entretiens sur le Gouvernement Temporel de la Providence, suivis d'un Traité sur les Sacrifices, par M. le comte Joseph de Maistre. Paris, MDCCCXI», I, 186.

¹⁵ Edling, op. cit., 37.

¹⁶ Запись в дневнике Местра под 30 апреля 1796 г.—«Les carnets du comte Joseph de Maistre—livre-journal 1797—1817», 1923, 113.

¹⁷ Sainte-Beuve, Causeries du Lundi, IV, 169.

¹⁸ J. de Maistre, Lettres et opuscules inédits, 1851, I, 256.

¹⁹ F. Vermales, Joseph de Maistre émigré, 1927, 13—17, 29—30.

²⁰ Edling, op. cit., 4.

²¹ «История, или, что то же, экспериментальная политика»,—говорит Местр во введении к «Essai sur le principe générateur des constitutions politiques» («Œuvres complètes de J. de Maistre», 1924, éd. Vitte, I, 286). В июле 1807 г. он пишет графу д'Аваре, доверенному лицу Людовика XVIII: «Бонапарт заявляет в своих бумагах, что он посланник божий. Нет ничего более верного: Бонапарт нисходит прямо с неба... как молния» (цит. по Sainte-Beuve, Causeries du Lundi, IV, 159). В своем дневнике 1807 г. Местр записывает: «Сент. 8/20—аудиенция у гр. Румянцева. Я открываю ему свой проект отправиться на собственный риск поговорить с Бонапартом в пользу короля Сардинии»; «Окт. 1/13—достопримечательная беседа с генералом Савари. Она длилась с 7 вечера до часа ночи. Он кончил тем, что вызвался переслать в Париж меморандум, в котором я прошу свидания у императора Наполеона».—«Carnets», 183; см. также 185.

²² См. меморандум об Италии, австрийских Габсбургах, сардинских Бурбонах и т. д.—«Œuvres complètes de J. de Maistre», 1924, éd. Vitte, IX, 48 сл.; см. также «Carnets», 166—167.

²³ Накануне Аустерлицы Местр писал: «Доблестный Александр двинул в поход 200 000 человек и самолично отправился с ними. Его морские силы поддерживают наземные операции, он объединяет всю разнородность воли, он—Готфрид этого нового крестового похода. Каждое европейское сердце обязано выражением восхищения, нежности и признательности этому юному монарху—образцу и заступнику всех остальных» («Œuvres complètes», IX, 464). Любопытно, что местровская апология так привилась, что перешла в традицию, и еще молодой Белинский в знаменитой статье, посвященной «Очеркам Бородинского сражения» Ф. Глинки, в 1839 г. писал об Александре I: «Царь русский является посредником между царями и народами, Готфредом Крестового похода новых веков». Оправдание аустерлицкому поведению Александра—см. в письме Местра к сардинскому королю, как обычно, предназначенном для русской перлюстрации.—«Œuvres complètes», IX, 28—29.

²⁴ Edling, op. cit., 60.

²⁵ Ibid., 39—42.

²⁶ Ibid., 5.

²⁷ Эмиль Фаге хорошо подметил и подчеркнул это в отношении Местра: «Христианизм Ж. де Местра является как бы лишь объяснением его политики и оправданием его философии, представляющей собою, в свою очередь, только большую обходную дорогу, по которой политический теоретик возвращается к своему исходному положению».—Emile Faguet, Politiques et moralistes du dix-neuvième siècle, I, 42—43, 53.

²⁸ Sainte-Beuve, Portraits littéraires, II, op. cit., 420.

²⁹ «Les Soirées de Saint-Petersbourg», II, 142; F. Vermales, op. cit., 102.

³⁰ Изгнанный из своих владений сардинский король Виктор-Эммануил I не принял предосторожности оформить савойца Ж. де Местра в качестве сардинского подданного. Местр остался «аллоброгом», т. е. французом, поскольку Савойя отошла к Франции. После Эрфуртского договора о франко-русском союзе положение Местра при русском дворе стало двусмысленным и даже, с точки зрения Местра, опасным; поэтому он негласно принял русское подданство, чтобы иметь формальную защиту в случае французских посягательств. Ср. F. Vermales, op. cit., 105—106.

³¹ Edling, op. cit., 44, 46, 48.

³² «Les Soirées de Saint-Petersbourg», II, 74—75.

³³ Ibid., I, 10, 12; II, 167.

³⁴ «Lettres et opuscules», I, 43—письмо от 2/14 мая 1805 г.

³⁵ Sainte-Beuve, Portraits littéraires, II, 424; IV, 150—151. Ср. E. Faguet, op. cit., I, 1, и A. Thibaudet, Histoire de la littérature française, 1936, 81.

³⁶ Sainte-Beuve, Portraits littéraires, II, op. cit., 423.

³⁷ Они напечатаны без даты и с изменением обращения «Mademoiselle» на «Madame» в «Lettres et opuscules», II, 570—573, 573—576, 576—578, 578—580, 580—583, 585—590.

³⁸ Sainte-Beuve, Portraits contemporains, II, 126. Portraits littéraires, II, 449—453.

³⁹ «Мне досадно, что рядом со мной нет предостерегателя, ибо я крайне уступчив в отношении исправлений» (цит. по Sainte-Beuve, Causeries du Lundi, V, op. cit., 166).

⁴⁰ Автограф.—Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград. Публикуется впервые. Упоминания: «Вы уже вся в беготне» («déjà en plein exercice») и «чрезмерные труды... для двух ног», дают основание предположить, что речь идет о начале выполнения Роксандрой фрейлинских обязанностей, связанных с утомительной беготней по дворцовым лестницам для выполнения поручений; об этом ср. постоянные жалобы другой фрейлины той эпохи, княжны Туркестановой, в переписке с Ферд. Кристином: «Невыносимо лазать по этим ужасным лестницам по несколько раз» (6 октября 1813 г.); «не могу выразить, как ужасны эти 113 ступеней... можно с ума сойти, когда приходится бегать по ним вверх и вниз дважды, трижды в день: хочется плакать» (22 декабря 1813 г.) и т. д. («Ferdinand Christin et la Princesse Tourkestanow», 1882, I, 46, 74, 77, 141). Датировка записки Местра 1805 г., когда Стурдза стала фрейлиной, условна и связана с таким толкованием текста записки.

⁴¹ Автограф.—Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград. Публикуется впервые. Датировка предположительна, по титулованию Стурдзы фрейлиной обеих императриц.

⁴² Автограф.—Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград. Публикуется впервые. Датировка предположительна, по титулованию Стурдзы фрейлиной обеих императриц. Речь, видимо, идет о возвращении Стурдзы в Петербург вместе со двором—вероятно, из Царского села.

⁴³ «Герцогу»—неаполитанский посланник Серра-Каприола, друг Местра, его единомышленник и соратник по политике при русском дворе; см. М. Степанов, op. cit., 554, 558, 589, 604. «Греция»—условно-шутливое обозначение дома Стурдзы, как и «Яссы» в следующей записке.

⁴⁴ Автограф.—Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград. Публикуется впервые. Датировка предположительна и связана с тем, что речь в записке идет, повидимому, об издании «Œuvres posthumes de Saint-Martin», которое стало выходить в 1807 г. L.-C. de Saint-Martin (1743—1803), писавший под псевдонимом «Philosophe Inconnu»—«Неведомый философ»,—французский мистик, глава иллюминатов.

⁴⁵ Одна из сказок, входящая в знаменитый сборник Шарля Перро (1628—1703) и повествующая о бедняке-дровосеке, не сумевшем придумать, как лучше применить исполнение трех желаний, обещанное ему свыше.

⁴⁶ Автограф.—Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград. Публикуется впервые. Датировка предположительна, по связи со следующей запиской.

⁴⁷ Автограф.—Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград. Публикуется впервые. Датировка связана с упоминанием в записке о двух томах проповедей Массильона, начатых переизданием в 1810 г. J.-B. Massillon (1663—1742)—знаменитый французский проповедник.

⁴⁸ Местр отмечает в дневнике под 16 апреля 1797 г.: «... получил „Размышления о Франции“» («Carnets», 122). В «Les Soirées de Saint-Petersbourg» упоминается, что книга вышла в 1797 г., якобы, в Лондоне,—это было нарочито неверным указанием места издания; действительное—Базель.

⁴⁹ «Les Soirées de Saint-Petersbourg», I, 112, 116—118.

⁵⁰ «Lettres et opuscules», I, 237.

⁵¹ Sainte-Beuve, Massillon.—«Causeries du Lundi», IX, 5, 12, 24.

⁵² См. введение П. де Сен-Виктора, стр. XX.—«Œuvres complètes de J. de Maistre», IV.

⁵³ Sainte-Beuve, Saint-Martin.—«Causeries du Lundi», X, 235, 256, 265, 270; ср. также Sainte-Beuve, J. de Maistre.—«Portraits littéraires», II, 414—416.

⁵⁴ «Les Soirées de St.-Petersbourg», II, 218, 239.

⁵⁵ Ibid., II, 241.

⁵⁶ Ibid., II, 112.

⁵⁷ Автограф.—Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград. Публикуется впервые.

⁵⁸ Автограф.—Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград. Публикуется впервые.

⁵⁹ Толстой Николай Александрович, граф—обер-гофмаршал Александра I, один из наиболее влиятельных вельмож двора и главарей «старой партии», с которым Местр был особенно тесно связан; см. М. Степанов, *op. cit.*, 590.

⁶⁰ Дневники Местра несколько раз отмечают «soupe à l'hermitage»—ужин в Эрмитаже, где присутствует Александр I и куда приглашаются нужные царю лица; см. «Carnets», 1807, 1808, 1810, 174, 186, 187, 191.

⁶¹ Автограф.—Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград. Публикуется впервые.

⁶² Толстая Анна Ивановна, графиня, жена обер-гофмаршала, наряду с В. Н. Голвиной «собрашенная» в католичество иезуитами и Местром,—одна из основных фигур русско-католического высшего дворянства 1810-х годов; см. М. Степанов, *op. cit.*, 590, 606.

⁶³ «София»—Софья Ивановна Загряжская, вышедшая 19 января 1813 г. замуж за Ксавье де Местра. «Брат мой»—Ксавье де Местр, младший брат Жозефа, рисовальщик и писатель, автор «Путешествия вокруг моей комнаты», 1795, эмигрировавший в Россию за три года до прибытия Жозефа, с 1800 г.—на русской военной службе, с 1802 г.—в отставке, с 1805 г., по хлопотам Жозефа через адм. Чичагова,—директор всех научных учреждений реорганизованного Адмиралтейства, как помечено в «Carnets» Ж. де Местра под 10 января 1805 г. Там же под 19 января 1813 г. отмечается свадьба Ксавье с Загряжской, а под 11 февраля—отъезд Ксавье в армию (*op. cit.*, 197). Тем самым, поскольку все три записки Местра (№№ 1, 2, 3) следуют одна за другой, и, видимо, без значительного перерыва, их можно датировать январем-февралем 1813 г.

⁶⁴ Автограф.—Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград. Публикуется впервые. Вилье Я. В. (1765—1854)—лейб-медик.

⁶⁵ Софи—здесь, видимо, С. П. Свечина.

⁶⁶ Автограф.—Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград. Публикуется впервые.

⁶⁷ У Местра стоит слово «aspasimes»—видимо, слово, заимствованное из новогреческого языка и означающее приветствие, ласку; ср. в древнегреческом глагол ἀσπάζομαι—приветствовать, любить, ласкать, целовать.

⁶⁸ Автограф.—Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград. Публикуется впервые. Для датировки—см. в тексте письма упоминание о том, что сообщение Ксавье, уехавшего в армию в Грузию 10/20 июля 1810 г. («Carnets», 192), отправлено с Кавказа 19 декабря 1810 г., через 32 дня после ранения, т. е. ранение было около 17 ноября 1810 г.; письмо Ксавье дошло в Петербург не раньше начала января 1811 г., и тогда же Местр написал Стурдзе.

⁶⁹ Намек на известную книжку Кс. де Местра: «Voyage autour de ma chambre», вышедшую в свет в 1795 г. (см. «Carnets», 83, 93, 97) и переизданную в Петербурге в 1812 г. с предисловием Жозефа де Местра.

⁷⁰ «Lettres et opuscules», I, 287—289.

⁷¹ Falloux comte de, M-me Swetchine, sa vie et ses œuvres, 2 vols., 1854; «Lettres de M-me de Swetchine», 2 vols., 1862; «Correspondance du R. P. Lacordaire et de M-me Swetchine», 1864.

⁷² См. у М. Степанова, *op. cit.*, 611, о копии местровской рукописи «Пять писем о воспитании в России», оказавшейся у А. И. Тургенева, подготовлявшего проведение указа об изгнании иезуитов.

⁷³ Первое из этих «Пяти писем о публичном воспитании в России» помечено «июнь 1810»; последнее, пятое письмо—«30 июля (18 авг.) 1810».

⁷⁴ F. Vermale, *op. cit.*, 605, 115—116; ср. М. Степанов, *op. cit.*, 605.

⁷⁵ Edling (*op. cit.*, 75) вспоминает, в связи с ходом кампании 1812 г.: «В столице стоял сильный ропот. Раздраженный и беспокойный народ мог с минуты на минуту восстать. Знать вслух обвиняла императора в несчастиях, постигших государство, и почти нельзя было защищать его публично. Императрица, зная, что происходит, предложила мне бывать в свете, дабы опровергать нелепые и клеветнические слухи, распространяемые насчет двора».

⁷⁶ Ibid., 128.

⁷⁷ Автограф.—Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград. Публикуется впервые.

⁷⁸ Так, видимо, характеризовала Стурдза тех из съехавшихся в Вену представителей европейского высшего света, которые во время Венского конгресса не выказывали интереса ни к непрерывным балам и празднествам, прикрывавшим медлительность и случайность переговоров, ни к политическим страстям вокруг торгов и интриг держав на конгрессе.

⁷⁹ Смысл этой фразы состоит в том, что до Местра дошли слухи о сватовстве Каподистрии к Стурдзе при посредничестве Александра I. Это подтверждается следующими словами в письме Свечиной к Стурдзе от 16 февраля 1815 г. из Петербурга: «Меня не перестают спрашивать всевозможные любопытствующие или нескромные люди, а равно и те, кто в самом деле живо интересуются вами, относительно вашего предполагаемого замужества с графом Каподистрией. Я отвечаю, что ничего не ведаю и что этого неведения достаточно не только для того, чтобы усомниться в истине новости, так широко распространившейся, но и для того, чтобы удостовериться в обратном».—*Lettres de M-me Swetchine*, I, 138—139.

⁸⁰ В «*Essai sur le principe générateur des constitutions politiques*», в параграфе XIX, читаем: «Эти идеи не чужды (в общем своем виде) философам античности; они хорошо чувствовали слабость, скажу—ничтожество, письменного закрепления больших установлений; но ни один не был проникательнее и не изобразил этого лучше, чем Платон, которого мы встречаем всегда первым на дороге всех великих истин» и т. д.—*Œuvres complètes*, I, 254.

⁸¹ Повидимому, граф Ла Сансе—французский эмигрант, оставшийся в России, позднее редактор выходившего в Петербурге на французском языке «*Journal de Saint-Petersbourg*», офиса русско-русского министерства иностранных дел.

⁸² С. Д. Стурдзу, отца Роксандры, разбил паралич: «Он в плачевном состоянии, без движения, и так одряхлел, что от него осталась только тень...»; «...я встретила в Вене свою семью... Отец, попрежнему сильно хворавший, показался мне не таким угнетенным» (Edling, op. cit., 105 сл.). С. Д. Стурдза умер в 1816 г.

⁸³ Автограф.—Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград. Напечатан без даты в *Lettres et opuscules*, II, 583—585.

⁸⁴ Письмо к Крюденер от 27/X 1815 г.—Публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина, Ленинград. Архив Крюденер.

⁸⁵ Edling, op. cit., 177: «Как-то раз император сказал мне о своем убеждении, что я кончу тем, что выйду замуж вне России. «Эта мысль меня заботит,—прибавил он,—мне хотелось бы видеть вас устроенной возле нас... среди тех, которые меня окружают, я считаю, что только один Каподистрия достоин вас»».

⁸⁶ Ibid., 250.

⁸⁷ Елизавета Алексеевна незадолго до смерти Александра I писала матери: «Я думаю, что другая из моих фрейлин могла бы, конечно, приехать повидать меня из Одессы, куда она, вероятно, уже вернулась,—графиня Эдлинг. Но даже пожелай она этого, все же возникли бы соображения, которые должны были бы помешать этому,—у императора уже нет к ней того чрезмерного благоволения, которым она злоупотребляла когда-то. Так все меняется на свете, и, принимая во внимание все «если» и «но», я думаю, что кончу тем, что откажусь от свидания с гр. Эдлинг» (письмо от 12 октября 1825 г. из Таганрога, цит. по «Имп. Елисавета Алексеевна, супруга имп. Александра I», III, 460).

⁸⁸ Ксавье де Местр писал о настроениях брата перед отъездом: «Печаль, из-за необходимости покинуть страну, где с ним обходились так хорошо... до такой степени угнетает его, что он постарел за последний месяц лет на десять... Спускаясь по реке, он сказал: «Итак, прощай, прекрасный Петербург!». Мы почти не обменялись ни словом за время переезда».—F. Vermales, op. cit., 136.

⁸⁹ Автограф.—Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград. Публикуется впервые. В дневнике Местра 1817 г. это письмо специально отмечено: «май...12. 24. Графине Эдлинг, урожденной Стурдза, в Веймар».—«*Carnets*», 201.

⁹⁰ Речь идет о смерти молодой жены Александра Скарлатовича Стурдзы, в девичестве Чичериной, умершей в начале 1817 г.

⁹¹ В дневнике 1817 г. Местр отмечает: «в воскресенье, 13 июня, прощальная аудиенция у е. в. императора в 10 часов и у обеих императриц—в 1 час», а под 15/27: «отъезд из С.-Петербурга в 11 ч. утра... в императорском катере с братом [Ксавье], дочерьми Аделью и Констанцией, женой, графиней Разумовской и лакеем моим Жозефом-Амбрузом».—«*Carnets*», 201. В письме к гр. Блакасу от 27 апреля/8 мая 1817 г. Местр пишет: «...могущественный повелитель [русского флота] благоволил разрешить мне отправиться на одном из 74 пушечных кораблей со всем моим семейством».—«*Lettres et opuscules*», I, 420.

⁹² Ср. F. Vermales, op. cit., 136, 168.

⁹³ А. С. Стурдза, по поручению двора, вел в это время кампанию против католичества, иезуитов и лично против Местра, опубликовав памфлет: «Размышление о вере и духе православной церкви» (F. Vermales, op. cit., 135). Во французских исследованиях высказывались предположения, что Местр написал свой знаменитый трактат «О папе» по прямому поручению Ватикана. Сам Местр писал 28 сентября 1818 г. де Пласу: «Эта IV книга [«О папе»] направлена против книги г. Стурдзы, вызвавшей большой шум в России... Рим очень заинтересован в опровержении его сочинения». Иезуит ван-Акен, в предисловии к «Папе», говоря о выступлениях Стурдзы и Местра, прямо пишет, что, так как «Рим выразил желание, чтобы русскому камергеру была дана отповедь, то граф поторопился кончить свой трактат «О папе», который давно задумал».—F. Brunetière, Etudes critiques sur l'histoire de la Littérature française, VIII серия, 1910, статья «Ж. де Местр и его книга о папе», 264—265.

⁹⁴ В мемуарах Эдлинг описание знакомства с Местром соединено с резкой характеристикой иезуитов в России и роли Местра (Edling, op. cit., 23—26). Местр не остался в долгу: в одном из поздних писем он говорит: «... Иллюминаты, как мне известно, бесчисленно кишат и в Петербурге, и в Москве... Я в совершенстве знаю махинации, которые были пущены в ход этими людьми, чтобы приблизиться к высочайшему создателю Священного союза и овладеть его умом. Женщины проникли сюда, как они проникают всюду»,—несомненный и прямой намек на Крюденер и Р. Стурдзу, как отмечает F. Vermales, op. cit., 132.

⁹⁵ Р. С. Эдлинг не была обойдена высочайшим вниманием в 1824 г. при распределении пустопорожных земель в Бессарабии и получила 10 000 десятин, на которых успешно поставила хлебопашество, скотоводство и винокурение, и занялась экспортом хлеба на заграничный рынок.

⁹⁶ «La doctrine Saint-Simonienne»—книга, содержащая лекции учеников Сен-Симона (Анфантена и др.), читанные адептам сен-симонизма в Париже зимой 1828—1829 г. (см. русский перевод: «Изложение учения Сен-Симона (1828—1829)», 1-я ч., 1923, перевод М. Ландау, с предисловием В. Волгина). В письме к поэту В. Г. Теплякову, от 27 апреля 1835 г., Эдлинг пишет: «Я достала себе второй том «D o s t r i n e»; он вовсе не так замечателен, как первый»—см. письма Эдлинг к Теплякову.—«Русская Старина», август 1896, 410.

⁹⁷ Дневник 1832—1835 гг.—Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград.
⁹⁸ «Сцены Таганрога», т. е. описание болезни и смерти Александра I (см. «Аппехе» к ее «Мемуарам», 268 сл.), были сделаны Эдлинг с чужих слов, так как в живых царя она сама уже не застала; несмотря на ее ходатайства, ей было отказано в разрешении приехать (см. прим. 87-е). Эдлинг получила доступ в Таганрог, когда Александр был уже на смертном одре; она сумела повести себя так, что угодила вдове: «Я виделась на-днях с графиней Эдлинг,—пишет Елизавета Алексеевна матери,—я думала, что она стеснит меня, однако, это не так: она умеет подойти к душе так хорошо и так верно, что ни шокировала меня, ни была мне в тягость»—см. Вел. кн. Николай Михайлович, Имп. Елизавета Алексеевна, супруга имп. Александра I, 1909, III, 353.

⁹⁹ Черновик письма—архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград.

¹⁰⁰ См. две статьи Сент-Бёва в связи с выходом свечинских публикаций, предпринятых гр. де Фаллу; статьи перепечатаны в «Nouveaux Lundis», I, 208—233 (25 ноября 1861 г.) и 234—254 (2 декабря 1861 г.).

¹⁰¹ См. корреспонденцию А. И. Тургенева в «Современнике» 1836 г.: «Париж (хроника русского)», I, 258—295. А. И. Тургенев, встретивший Эдлинг в Веймаре, на ее обратном пути, в августе 1840 г., отзывался о ее рассказах так: «Графиня Эдлинг узнала Париж, как немногие и долго там живущие знают его. Она описывает его беспристрастно; в рассказах ее много нового и для меня».—«Современник», 1841, XXI, ст. «Хроника русского в Германии», 35.

¹⁰² Автор а ф.—Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград.

¹⁰³ Письмо к мужу от 12 декабря 1839 г.—там же.

¹⁰⁴ Письмо к мужу от 24 декабря 1839 г.—там же.

¹⁰⁵ 26 марта 1840 г. министерству Тьера (так называемому «министерству 1 марта»), опиравшемуся, в основном, на левый центр Палаты, был дан бой объединившейся на сей случай правой и левой оппозицией по вопросу о «секретных фондах»—одного миллиона, которого Тьер требовал на секретные расходы, ставя вопрос о доверии и заявляя с привычной демагогией левому большинству Палаты: «Я—сын революции, я родился в ее недрах, в этом заключается моя сила,—я черпаю силу, прикасаясь к революции, как Антей к земле». Для пигмейского роста Тьера это сравнение

было смешно. С крайней правой от легитимистов выступил Беррье. Слева Ламартин обвинял Тьера в страсти «управлять—управлять неограниченно, управлять всегда, управлять с большинством, управлять с меньшинством, как сейчас, управлять со всеми против всех». Одилон Барро, от имени поддерживавшего Тьера центра, отвечал Ламартину: «Тьер вышел из оппозиции, но не отказывается от своего происхождения; его министерство осуществляет вполне искренно и правдиво парламентское правительство...». Тьеру удалось собрать большинство и удержаться (см. Л. Г р е г у а р, История Франции XIX в., русск. перев., 1894, II, 139—191). В письме Сент-Бёва к Эдлинг встретится, далее, в противоположность «1-му марта», упоминание о «положении 15 апреля»; это намек на относительное спокойствие, господствовавшее при графе Моле, возглавившем правительство, образованное 1 апреля 1837 г.

¹⁰⁶ См. переписку Свечиной с виконтом Арманом де Мелёном (de Melun) в «Lettres de Madame Swetchine», 1862, II, 157—227.

¹⁰⁷ Письмо к брату от 3 апреля 1840 г.—Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград.

¹⁰⁸ Сообщение Свечиной об ожидаемом приезде Эдлинг—см. «Lettres de M-me Swetchine», I, 203, 350; II, 134. О неудаче попытки привлечь Эдлинг к католичеству см. письмо Свечиной к иезуиту Гагарину.—Ibid., II, 315—316. Зоя Эдлинг в Париж, Свечина писала ей еще в 1837 г. о своей уверенности, что они поймут друг друга в вопросах о «путях провидения» и что занятия овцеводством и винокурением не могут удовлетворить запросов души.—Ibid., I, 188 сл., 205 сл.

¹⁰⁹ Письмо к брату от 13 ноября 1839 г.—Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград.

¹¹⁰ «Lettres de M-me Swetchine», I, 225; последнее письмо Свечиной к Эдлинг помечено 25 августа 1838 г. В «Жизнеописании г-жи Свечиной» гр. Фаллу сообщает: «Писем M-lle Стурдзы к г-же Свечиной больше не существует; письма же Свечиной были заботливо сохранены»—ор. cit., I, 75.

¹¹¹ Письмо к мужу от 8 декабря 1839 г.—Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград.

¹¹² Письмо к брату от 23 декабря 1839 г.—там же.

¹¹³ В том же письме к брату.

¹¹⁴ Письмо к мужу от 1 января 1840 г.—Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград.

¹¹⁵ Автограф.—Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград. Публикуется впервые. Рукописи брата, А. С. Стурдзы, были у Эдлинг с собой; она подарила на обратном пути одну из них А. И. Тургеневу в Веймаре, о чем сообщала в письме к брату от 11 августа 1840 г.

¹¹⁶ Автограф.—Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград. Публикуется впервые.

¹¹⁷ E. Herriot, Madame Récamier et ses amis, 1934, 506. Русские источники позволяют исправить одну деталь в этом месте книги Эррио: он сообщает, что больная Рекамье почему-то должна была на воды поехать одна; А. И. Тургенев, со слов Эдлинг, говорит, что ее доставил в Эмс Ж.-Ж. Ампер, в тот же день выехавший обратно.—«Современнику», 1841, ор. cit., I, 35.

¹¹⁸ Письмо к мужу от 8 декабря 1839 г.—Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград.

¹¹⁹ Sainte-Beuve, Correspondance Générale, publiée par J. Bonnerot, II, 380—письмо от 8 июля 1838 г. к супругам Оливье.

¹²⁰ Sainte-Beuve, Chateaubriand et son groupe sous l'Empire, I, 17—18.

¹²¹ Sainte-Beuve, Correspondance Générale, II, 432—письмо от 25 августа 1838 г. к супругам Оливье.

¹²² Sainte-Beuve, Nouveaux Lundis, I, 224: «„Когда человек написал «volupté»,—сказала она мне в первый же раз, как я увидел ее,—за это надо нести ответственность“. Я молча поклонился». Развязка романа была ему подсказана аббатом Лакордэром—см. G. Michaut, Sainte-Beuve avant les Lundis, 1903, 294. О Лакордэре—см. прим. 202. О светском увлечении состязаниями католических проповедников—см. у А. И. Тургенева, в парижской хронике 1836 г.: «В воскресенье в Notre-Dame начнет свои поучения Лакордер, экс-сотрудник Ламеннэ. Надобно заранее запастись местом, иначе не услышишь его. Постараюсь не пропустить ни одной проповеди. Есть и другие духовные ораторы, но менее блистательные»; «...любители духовного ораторства делятся здесь на Лакордеристов, Равиньянистов, Кёристов и пр. У первого больше молодежи и публика несравненно многочисленнее».—«Современнику», 1836, ор. cit., 274—275, 289, ср. также 285.

¹²³ См. афоризм Сент-Бёва, цитируемый Свечиной в письме к тому же А. де Мелёну. — «Lettres de M-me Swetchine», II, 193.

¹²⁴ Sainte-Beuve, Correspondance Générale, II, 110—письмо конца октября 1836 г. к У. Гуттингеру.

¹²⁵ Sainte-Beuve, Nouveaux Lundis, I, 225, а также 216, 217, 222.

¹²⁶ Ibid., I, 224.

¹²⁷ Pons, Sainte-Beuve et ses inconnues, 1879, 221—224; J. Troubat, Souvenirs du dernier secrétaire de Sainte-Beuve, 1890, 274—278. A. Bellesort, Sainte-Beuve et le XIX s., 1927, 324.

¹²⁸ Sainte-Beuve, Mes poisons, 13.

¹²⁹ Barbey d'Aurevilly, Les critiques, 77.

¹³⁰ Théophile Gautier, Portraits contemporains, 208; статья написана через два года после смерти Сент-Бёва, в 1871 г.

¹³¹ «Les Romantiques à l'Académie», préface par P. Souday, 1928, 184—185.

¹³² G. Michaut, Sainte-Beuve avant les «Lundis», 1903, введение, VII.

¹³³ V. Giraud, La vie secrète de Sainte-Beuve, 1935, 70.

¹³⁴ G. Michaut, op. cit., 10.

¹³⁵ H. Taine, Derniers essais de critique et d'histoire, 1894, VIII, 58—59.

¹³⁶ V. Giraud, op. cit., 116.

¹³⁷ Об эволюции Сент-Бёва в эпоху Июльской монархии—см. G. Michaut, op. cit., 21, XIII, и новейшее резюме—V. Giraud, op. cit., 112—132.

¹³⁸ «В смысле биографическом эта простая пастель, в которой выразительности черт уделено больше старания, чем фактам, конечно, оставляет желать лучшего» («Portraits de femmes», 382); еще раз, позднее, он записал в интимных тетрадах: «Г-жа Крюденер. Шарль Эйнар дунул на мою пастель,—я ему дал сдачи, хлопнув по его святой» («Mes poisons», 72)—в данном случае, речь идет о втором сент-эвремонском этюде.

¹³⁹ См. в письме Сент-Бёва к Эдлинг от 16 июня 1841 г. упоминания о беседах с Эйнаром, а также его письмо к Эйнару от 15 декабря 1840 г. («Correspondance Générale», III, 401); см. также L. Séché, op. cit., II, 109, 112.

¹⁴⁰ В письмах Сент-Бёва к Оливье читаем: «Публикация, задуманная г. Эйнаром, могла бы представить интерес, или: «... Шарль Эйнар, чей обширный биографический труд я хотел бы видеть...». —«Correspondance Générale», III, 58, 166; см. также op. cit., 183.

¹⁴¹ Письмо Шарля Эйнара к Эдлинг от 7 декабря 1839 г. из Женевы.—Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград. В номере «Revue des Deux Mondes» от 1 ноября 1839 г. Сент-Бёв, в самом деле, поместил следующую заметку: «... Ш. Эйнар, племянник фило-эллина, только-что опубликовал обширную и очень интересную биографию знаменитого врача Тиссо. Он готовит другое, не менее полное, жизнеописание г-жи Крюденер, для которого располагает рядом ее писем. Нам известно, что он помышляет также о Боншгеттене, и мы хотели бы еще настойчивее рекомендовать ему это». —«Correspondance Générale», III, 168, прим. 5-е.

¹⁴² Sainte-Beuve, Correspondance Générale, III, 182, прим. 2-е.

¹⁴³ Автограф.—Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград. Публикуется впервые; одновременно напечатано во французском издании всей переписки Сент-Бёва (под редакцией Jean Vonnegot), по фотоснимку с подлинника, предоставленному редакцией «Литературного Наследства»—см. «Correspondance Générale», III, 181—182.

¹⁴⁴ Письмо к мужу от 8 декабря 1839 г.—Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград.

¹⁴⁵ Письмо к брату от 9 декабря 1839 г.—там же.

¹⁴⁶ Sainte-Beuve, Correspondance Générale, III, 193, прим. 2-е.

¹⁴⁷ Sainte-Beuve, Mes poisons, 4, 5, 6.

¹⁴⁸ Письмо к брату от 23 декабря 1839 г.—Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград.

¹⁴⁹ Автограф.—Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград. Публикуется впервые; одновременно напечатано во французском издании всей переписки Сент-Бёва по фотоснимку с оригинала, предоставленному редакцией «Литературного Наследства». Датировку письма Ж. Боннеро относит к январю—марту 1840 г. (см. «Correspondance Générale», III, 240), указывая, однако, что каких-либо данных для определения нет.

¹⁵⁰ Sainte-Beuve, Correspondance Générale, III, 240, прим. 1-е—письмо Эдлинг к Ш. Эйнару от 29 января 1840 г.

¹⁵¹ См. «Notes et pensées» в приложении к «Portraits littéraires», III, 563.

¹⁵² Автограф.—Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград. Публикуется впервые; одновременно напечатано во французском изда-

ний всей переписки Сент-Бёва по фотоснимку с подлинника, предоставленному редакцией «Литературного Наследства» — см. «Correspondance Générale», III, 205—206.

¹⁵³ J. Voyné, в своем примечании к этому письму (op. cit., III, 206, прим. 2-е) приводит сохранившиеся два сообщения г-жи де Жюссье к Сент-Бёву о помощи Канторам, из которых первое датировано 1833 г.

¹⁵⁴ Автограф. — Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград. Публикуется впервые; одновременно напечатано во французском издании всей переписки Сент-Бёва по фотоснимку с подлинника, предоставленному редакцией «Литературного Наследства» (см. «Correspondance Générale», III, 193). Датировка письма приурочена редактором французского издания, Ж. Боннеро, к 7 декабря 1839 г. и связана с чтением Сент-Бёвом «Пор-Рояля»; однако, ни то, ни другое не может быть принято по следующим соображениям: Сент-Бёв говорит об ожидающем его и Эдлинг «наслаждении» от предстоящего чтения, что было бы, по меньшей мере, нескромностью, если бы дело шло о его собственном выступлении; далее, днем чтения указано «воскресенье», а по воскресеньям у г-жи Рекамье обычно происходили чтения шатобриановских «Замогильных записок», — это известно и по другим источникам и явствует также из писем Сент-Бёва; наконец, это же говорит и сам Ж. Боннеро (см. op. cit., III, 169, прим. 1-е). По письмам Сент-Бёва можно также установить, что для чтений «Пор-Рояля» ему были отведены субботы (ibid., III, 166, 170, 193, — в последнем случае неверно указана дата: 15 января 1840 г., вместо 15 февраля, приходящегося на субботу). В отношении же даты чтения дело обстоит так: из письма Эдлинг домой от 16 января 1840 г. явствует, что она услышала у г-жи Рекамье отрывки «Port-Royal» лишь в январе 1840 г. (повидимому, в субботу, 11-го), и уже после того, как побывала на чтении «Mémoires d'Outre-Tombe»; вместе с тем, 1 января 1840 г. она сообщает, что еще ждет приглашения на «Замогильные записки», — следовательно, ее присутствие на чтении шатобриановских мемуаров должно приходиться на одно из воскресений между 1 и 11 января, — таким может быть лишь воскресенье, 5 января; записка Сент-Бёва, тем самым, датируется субботой, 4 января 1840 г.

¹⁵⁵ Письмо к мужу от 16 января 1840 г. — Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград; мы переводим «avant-hier» словом «намедни», а не буквально «позавчера», так как этот вполне возможный оттенок точнее соответствует календарному расчету: суббота, когда Сент-Бёв читал «Port-Royal», ближайшая к 16 января, приходится на 11-е число.

¹⁵⁶ Sainte-Beuve, Correspondance Générale, III, 220, прим. 3-е — письмо Эдлинг к Ш. Эйнару от 29 января 1840 г.

¹⁵⁷ Ibid., III, 240, прим. 1-е. В архиве Стурдзы-Эдлинг сохранился ответ Шарля Эйнара от 11 марта 1840 г.

¹⁵⁸ Автограф. — Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград. Публикуется впервые; одновременно напечатано во французском издании всей переписки Сент-Бёва по фотоснимку с подлинника, предоставленному редакцией «Литературного Наследства» («Correspondance Générale», III, 230). Дата определяется сопоставлением дня премьеры «Клеветы» Скриба — 1 марта — с пометкой Сент-Бёва, что он пишет эту записку в пятницу, 14-го; календарно это приходится на 14 февраля 1840 г.

¹⁵⁹ Статья помечена 15 февраля 1840 г. и вошла в состав «Portraits contemporains», II.

¹⁶⁰ Статья появилась в мартовском же номере «Revue des Deux Mondes»; см. «Portraits contemporains», II, appendice, 103.

¹⁶¹ Автограф. — Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград. Публикуется впервые; одновременно напечатано во французском издании всей переписки Сент-Бёва по фотоснимку с подлинника, предоставленному редакцией «Литературного Наследства» — см. «Correspondance Générale», III, 250.

¹⁶² О письмах Санд к Мюссе, находившихся в это время уже на хранении у Сент-Бёва, — см. J. Voyné, Correspondance Générale, III, 251, прим. 1-е. Боннеро предполагает, что именно письма к Мюссе были пушены Сент-Бёвом по рукам.

¹⁶³ G. Sand, Lettres à Sainte-Beuve. — «Revue de Paris», 1896, № 22, 277.

¹⁶⁴ В 1850 г. Сент-Бёв писал о Жорж Санд: «Единственный мой совет, единственное пожелание таково: пусть подобное дарование ищет путей и создает жанры какие угодно, но пусть никогда не служит какой-нибудь партии». — «Causeries du Lundi», I, 369.

¹⁶⁵ Falloux, M-me Swetchine, sa vie et ses œuvres, I, 411.

¹⁶⁶ Emile Zola, Documents littéraires, 1926, 290. Эта статья Золя о Сент-Бёве была впервые напечатана не по-французски, а по-русски в «Вестнике Европы» 1879 г., где сотрудиничал молодой писатель.

¹⁶⁷ Автограф.—Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград. Публикуется впервые.

¹⁶⁸ Лакордэр Ж.-Б.-А., аббат (1802—1861)—популярный католический проповедник, папист, в начале 30-х годов бывший учеником и помощником Ламеннэ, затем, в пору его борьбы с папским престолом, подчинившийся папе и отрешившийся от учителя; в 1840 г. принял монашество и вступил в орден доминиканцев; в 1848 г., в монашеском звании, выставил свою кандидатуру в Национальное собрание и был избран, равно как позднее стал членом Французской академии—первый монах среди «бессмертных» за все время существования Академии. Сент-Бёв много общался с ним в пору своей близости с Ламеннэ (см. «Causeries du Lundi», I, 222), затем встречал его у Свечиной, весьма ценившей его, и по разным okazиям неоднократно писал о нем—почтительно или доброжелательно в подписных статьях (см. «Causeries du Lundi», I, 221—240; XV, 122—129; «Nouveaux Lundis», IV, 392—435) и едко или даже разносно в «Швейцарском Обозрении» и интимных тетрадах. Эдлинг также интересовалась им, еще будучи в России, переписывалась о нем со Свечиной, желала получить копии его писаний.—F a l l o u x, *Lettres de M-me Swetchine*, I, 186.

¹⁶⁹ Сент-Бёв хорошо знал Мицкевича (см. «Correspondance Générale», III, 469), писал о нем, хлопотал в 1838—1839 гг. о приглашении его в Лозаннскую академию профессором истории латинской литературы; этот курс Мицкевич начал читать в Лозанне в пору приезда Эдлинг в Париж, в ноябре 1839 г., а спустя год получил курс славянских литератур в парижском «Collège de France» и начал чтение в декабре 1840 г. Он старался вначале быть академически-историчным и разносторонним, но затем не выдержал и превратил курс в проповедь польского мессианизма. Эти лекции он напечатал отдельной книжкой, дошедшей и до русских читателей. Среди них был Герцен; заметки его дневника перекликаются с тем, о чем Сент-Бёв сообщал Эдлинг: «12 [февраля] лекции Мицкевича в «Collège de France» 1840—1842. Мицкевич славянофил вроде Хомякова и С^е, со всей той разницей, которую ему дает то, что он поляк, а не москаль, что он живет в Европе, а не в Москве, что он толкует не об одной Руси, но о чехах, иллирийцах и пр., и пр.»; «17 [марта]. Дочитал Мицкевича лекции. Много прекрасного, много пророческого, но он далек от догадки,—напротив, грустно видеть, на чем он основывает надежду Польши и славянского мира... Нет, не католицизм спасет славянский мир и воззовет его к жизни и (истина заставляет признаться) не поляки поймут будущность... [Мицкевич] далек от ненависти к России, он хвалит ее, но не понимает, до того не понимает, что иной раз лучшие ее стороны приводят его в отчаяние: так в Петре он понял одну отрицательную сторону, равно и в Пушкине, а он был дружен с ним... Польша будет спасена помимо мессианизма и папизма» (Герцен, *Дневник*, 1844.—Полн. собр. соч., под ред. М. Лемке, III, 308, 317). Сент-Бёв еще в 1834 г., в ранней статье о Ламеннэ, отмечает у Мицкевича эту «ограниченность чрезмерно национального и чрезмерно суженного восприятия действительности».—«Portraits contemporains», I, 170.

¹⁷⁰ Сент-Бёв был всегда прекрасно осведомлен о закулисной подготовке выборов в Академию, и на сей раз его прогноз тоже оправдался: большинство голосов собрал Ж.-А.-Ф. Ансло (1794—1854)—популярный драматург, избранный на место умершего Бональда; очередь Балланша пришла в следующем году на освободившееся кресло Дюваля. О победе Ансло в тетрадах Сент-Бёва сделана такая заметка: «Избрание Ансло в Академию было всего лишь неблагородством; будь избран Бальзак, это было бы низостью».—«Mes poisons», 45.

¹⁷¹ Печатается по копии, любезно предоставленной М-г Jean Bonnet, редактором выходящего в свет полного собрания писем Сент-Бёва. По сообщению г. Боннэро, на подлиннике имеется помета, сделанная рукой Сент-Бёва: «Графиня Эдлинг, скончавшаяся в Одессе, в 1844, урожденная Роксандра Стурдза, бывшая фрейлиной императрицы, супруги императора Александра».

¹⁷² Автограф.—Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград. Публикуется впервые.

¹⁷³ Пост хранителя Библиотеки Мазарини был получен Сент-Бёвом в августе 1840 г., по представлению г-жи Рекамье пред Кузеном, министром народного просвещения в кабинете Тьера. Принятое назначение рассматривалось в общественных кругах, как начало сближения Сент-Бёва с луи-филипповским режимом. Сам Сент-Бёв утверждал в письме к Оливье, что принял место лишь для того, чтобы подкрепить свою кандидатуру во Французскую академию.—«Correspondance Générale», III, 351.

¹⁷⁴ У Pont des Arts, на берегу Сены, находится весь комплекс учреждений, образующих Французский институт, в том числе и Библиотека Мазарини.

¹⁷⁵ В «Revue des Deux Mondes», 1841, т. 26, была напечатана о Каподистрии статья молодого дипломата и будущего известного писателя Артюра Гобино (1816—

1882), рассматривавшего роль покойного друга Стурдзы в судьбах греческой независимости и утверждавшего, что Грецию надо освободить от руссофильского влияния, которое проводил Каподистрия. Эта статья была одним из выражений протеста французских политических кругов против антифранцузской позиции Николая I в ближневосточных осложнениях.

¹⁷⁶ Ламеннэ был 26 декабря 1840 г. приговорен к году тюрьмы и 2 000 франков штрафа за политические выступления против Июльской монархии, дополнившие его религиозную борьбу с папизмом: к «Словам верующего», 1834 (отметим, что издание осуществлял Сент-Бёв, тогдашний поклонник Ламеннэ—см. «Nouveaux Lundis», I, 39—41), и «Делам Рима», 1836, направленным против официального католичества, Ламеннэ присоединил теперь памфлет «Страна и правительство», 1840, приведший его в тюрьму, где он занялся писанием нового сочинения: «Голос из тюрьмы», 1841. Об этой работе и сообщает Сент-Бёв. Правительство, державшее Ламеннэ в тюрьме, включало в свой состав Гизо, в качестве министра иностранных дел и фактического руководителя кабинета (при номинальной главе маршале Сулье), и Вильмэна, в качестве министра народного просвещения. И Гизо и Вильмэн Сент-Бёв хорошо знал и жизненно весьма считался с их высокими постами; его многократные подписанные статьи о них почитательны, но в тетрадах он беспощаден: «Руайе-Коллар говорит: «Гизо—государственный деятель? Это—оболочка государственного деятеля!»; «Гизо—это величественный интриган»; «Вильмэн провел свою жизнь в том, что благостно говорил и скверно поступал»; «Вильмэн—византийская подлость и речь Златоуста» («Mes poisons», 64, 67, 176). Рассказ Шатобриана о его дружеских посещениях Ламеннэ в тюрьме—см. в «Mémoires d'Outre-Tombe», VI, 465, 466: «...в последней камере верхнего этажа... мы, сумасбродные верователи свободы, Франсуа де Ламеннэ и Франсуа де Шатобриан, беседовали о вещах значительных».

¹⁷⁷ Ж. Санд была занята окончанием повести «Полина» («Pauline»), о которой в предисловии к переизданию 1852 г. пишет: «Я начала эту повесть в 1832 г. в Париже, в мансарде, где чувствовала себя отлично. Рукопись затерялась; я сочла, что случайно бросила ее в огонь, а так как через три дня я уже не помнила, что хотела из нее сделать (это не презрение к искусству и не пренебрежение к читателю, но подлинная болезнь), то и не думала о возобновлении. Спустя десять лет, открыв в деревне какой-то футляр, я нашла в нем половину рукописи, озаглавленной «Полина». Я едва узнала свой почерк, настолько он был лучше нынешнего... Я стала перечитывать рукопись, и память о первоначальном замысле вдруг вернулась и я уверенно дописала конец» (G. Sand, Œuvres illustrées, 1852, «Pauline», p. I). Повесть рассказывает о двух провинциальных подругах, из коих одна, уехав в Париж, становится знаменитой актрисой, другая прозябает на родине при больной матери; случайный проезд актрисы через городок и встреча с подругой зажигают в провинциалке Полине жажду жизни, славы и любви, приводящую ее к душевной катастрофе.

¹⁷⁸ В. Гюго произнес свою вступительную речь на торжественном заседании Академии 3 июня 1841 г., причем под предлогом, что Непомусен Лемерсье, чье кресло он занял, был сначала другом, а затем противником Наполеона, он построил свое выступление на дифирамбе наполеоновскому гению и, вместе с тем, на похвале непримиримости его друга: «Не существовало головы, какой бы высокой или гордой она ни была, которая не склонилась бы перед этим челом [Наполеона], на которое рука господня, почти лицезримая, возложила корону... Всё на континенте согнулось перед Наполеоном, всё—кроме шести поэтов..., шести мыслителей—Дюссиса, Делиля, г-жи Сталь, Б. Констана, Шатобриана, Лемерсье... Что представляли собой эти шесть умов, восставших против гения?... Милостивые государи, они представляли в Европе единственную вещь, какой не хватало Европе,—независимость; они представляли во Франции единственную вещь, которой не хватало Франции,—свободу...»; «Можно сказать, что он [Лемерсье] был последним во Франции, кто обращался к Наполеону на «ты». 14 флореаля XII года, в тот самый день, когда Сенат впервые обратился к избраннику нации с императорским титулом: «Государь!»—Лемерсье, в памятном письме, еще фамильярно назвал его великим именем Б о н а п а р т а» («Les Romantiques à l'Académie», 1928, 102—103). Министр Сальванди, член Академии и в эту пору директор ее, принимавший Гюго, счел нужным в ответной речи призвать Гюго к порядку за внесение политики в дела искусства и за излишнюю радикализацию облика Лемерсье.

¹⁷⁹ Веймарского канцлера Мюллера (Friedrich von Müller, 1779—1849) Эдлинг должна была хорошо знать, как сослуживца мужа; Мюллер был из числа давних иностранных поклонников г-жи Рекамье и был искони принят в ее салоне.

¹⁸⁰ Автограф.—Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград. Публикуется впервые.

¹⁸¹ Переработка «Port-Royal» из конспекта лозаннских лекций в многотомный труд заняла ряд лет. «„Пор-Роаяль“ делает меня затворником»,—говорил Сент-Бёв; второй том вышел только в 1842 г.; Ш. Эйнар писал Эдлинг: «Сент-Бёв упорно работает над „Пор-Роаялем“. Он всё так же превосходен, и я его очень оценил в эту зиму» (письмо от 20 июня 1841 г.—Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград). Однако, ссылка на «Пор-Роаяль» была у Сент-Бёва всегда наготове, когда нужно было отговориться недостатком времени, ибо, в действительности, выход «Пор-Роаяля» задерживался как раз многочисленными очередными статьями, которыми был занят Сент-Бёв.

¹⁸² Принцесса Орлеанская Елена, в девичестве принцесса Мекленбургская,—жена старшего сына Луи-Филиппа, умершего в 1842 г.

¹⁸³ Ж.-Ж. Ампер предпринял путешествие на Восток вместе с Ш. Ленорманом (1802—1859), молодым археологом, вступившим в семейство г-жи Рекамье, благодаря женитьбе на ее племяннице, Amélie Suvoct, будущей издательнице архива Abbaye aux Bois. Вместе с Ампером и Ленорманом поехал также Проспер Мери́ме, о котором Сент-Бёв в письме не упоминает. Ампер опубликовал рассказ об этом путешествии в виде письма к Сент-Бёву.—E. Herriot, op. cit., 512.

¹⁸⁴ V. Giraud, op. cit., 122: «Чтобы попасть в Академию, Сент-Бёв понемногу отказывается от независимости. Он становится светским человеком, посещает орлеанистские салоны, где готовятся академические выборы». G. Michaut отмечает, что еще за два года до избрания в Академию Сент-Бёв стал вводить в свои статьи образы и выражения, которые должны были показать его удовлетворение Июльской монархией, как режимом «разумным, умеренным, вполне выносимым и, более того, достаточно счастливым»,—как выразился он в «Portraits littéraires» (II, 442—443); Мишо считает, что г-жа Жирарден имела право печатно назвать Сент-Бёва «грубым словом: ренегат» (op. cit., 472—473).

¹⁸⁵ E. Herriot, op. cit., 509. Международные осложнения возникли в связи с войной Турции, действительно поддержанной Англией и ее коалиционерами, против сирийско-египетского правительства Мехмета-Али, союзника Франции, оставленного, однако, Луи-Филиппом без помощи, в результате чего возник внутрифранцузский правительственный кризис, отставка тьеровского «министерства 1 марта» (см. о международной части событий «Историю XIX века», под ред. Лависса и Рамбо, III, 346—351, и о внутрифранцузской—Л. Грегуар, История Франции XIX в., II, 228—235). Позиция русского правительства была антифранцузской, поскольку у Николая I ненависть к нелегитимной монархии Луи-Филиппа брала верх над опасениями усиления влияния Англии на Ближнем Востоке. Это придает особый оттенок сообщениям Сент-Бёва Роксандре Эдлинг.

¹⁸⁶ Sainte-Beuve, Mes poisons, 44, 48.

¹⁸⁷ Письмо Ж. Гонкура к Флоберу от 9 марта 1869 г.—G. Michaut, op. cit., 3.

¹⁸⁸ Автограф.—Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград. Публикуется впервые.

¹⁸⁹ Г.-Ф.-К. Равиньян, аббат (1795—1858)—известный католический проповедник, лично знакомый Сент-Бёву по салону г-жи д'Абрувиль, избравшей Равиньяна своим духовником. О разраставшейся моде на проповеди Равиньяна Сент-Бёв писал по свежим наблюдениям в «Revue Suisse» 15 апреля 1843 г.: «...стечение народа в Notre-Dame было необыкновенным; о. Равиньян выступал с проповедями трижды в день: в час—для светских дам, вечером—для мужчин; в другие разы и в другие часы—для рабочих». В заметке 8 февраля 1844 г. Сент-Бёв там же отмечает, что, в отличие от Лакордэра и других, Равиньян—противник иезуитов и держится национальной, «галликанской» церкви.

¹⁹⁰ Бельджойозо, княгиня Тривульцио (1808—1871)—итальянка, велико-светская католичка, жившая в Париже, принимавшая участие в итальянском освободительном движении, подвергшаяся длительным репрессиям австрийского правительства, друг Гейне. См. о ней новейшее трехтомное исследование Aldobrandini Malvezzi. Сент-Бёв записал в свои тетради: «Княгиня Бельджойозо причащалась с большой помпой во время послеполуденной мессы в церкви Мадлен,—в час, когда никто никогда не причащается,—дабы покрасоваться на виду у всего этого бомонда. Для подобных женщин даже евхаристия—лишнее рагу» («Mes poisons», 76). Эдлинг должна была встречать ее у Свечиной и Рекамье и видела затем на водах в Эмсе в 1840 г. (см. письмо г-жи Рекамье к Амперу—Herriot, op. cit., 508).

¹⁹¹ Аллегорический памфлет Ламеннэ «Amschaspands et Dorvands» был выпущен в свет в 1843 г. Парадоксальному сближению Ламеннэ с Шатобрианом способст-

вовал Беранже, который в эти годы воздавал гласную дань почитания Шатобриану, что воспринималось в кругу Рекамье, как выражение «народных чувств». Сент-Бёв сообщает в «Revue Suisse» 5 августа 1844 г.: «Беранже, Шатобриан и Ламеннэ видятся друг с другом охотно и даже с удовольствием у Беранже, в Пасси. Лукавый песенник делает свое «дьявольское дело», как он выражается...» («Chroniques Parisiennes», 242). Сам Шатобриан писал: «Моя дружба с г. Беранже принесла мне ряд «изумлений» со стороны тех, кого именovali моей партией».—«Mémoires d'Outre-Tombe», V, 449.

¹⁹² Огромные поэмы Ламартина «Жослен» (1836) и «Падение ангела» (1838) были частями одной задуманной эпопеи, действительно, так и оставшейся незаконченной. Сент-Бёв, недавний почитатель Ламартина, теперь перенес и на его поэзию свою ненависть к нему, как к политическому деятелю: ср. хвалебную статью 1836 г. о том же «Жослене» («Ламартин—из числа гениев. В политике, в религии, в поэзии, в тесном смысле слова, он с жаром видел, как горизонт его ширится... Его последние писания, речи или поэмы обнаруживают новое вдохновение... Большая эпопея, которую он готовит и которая уже теперь дает нам больше, чем обещания, может лишь выиграть от этих движений столь благородного ума».—«Portraits contemporains», I, 219) с озлобленной статьей 1851 г. по поводу ламартиновской «Истории Реставрации» («Causeries du Lundi», IV, 300—313) и с записями в тетрадах: «... примечательная вещь: сколько встречал я значительных и понимающих людей, которые пытались читать «Жослена» и не могли дочитать до конца... Зато женщины и всё, что им подобно, яростно отстаивают прелесть произведения» («Mes poisons», 147). У Эдлинг было резко отрицательное мнение о «Падении ангела». Она писала в 1838 г. Теплякову: «Я еще совсем ошелоmlена,—это чтение было, точно удар обуха по голове. Я никогда не поверила бы, что такой прекрасный талант превратится в какой-то кошмар без интереса и всякой прелести» («Письма к В. Г. Теплякову», op. cit., 421). Наоборот, Свечина была в восторге. А. И. Тургенев сообщает: «Недавно Ламартин присылал своего приятеля читать отрывок из своей огромной поэмы С. П. С[вечи]ной; этот отрывок назван, кажется, «Jocelyn». С[офья] П[етровна] уверяла, что она ничего лучшего в этом роде не читывала...».—«Современник», 1836; op. cit., I, 261.

¹⁹³ Гениальная трагическая актриса Э. Р а ш е л ь (1821—1858) была в эту пору на заре своей быстро разраставшейся славы и с 1838 г. пожинала триумфы уже в Comédie Française. Даже болевшую и никуда не выезжавшую Рекамье выступления Рашели вызывали в театр. Рашель выступала и в салоне Рекамье с чтениями классиков; сам Шатобриан после ее декламации отрывков из «Полиевкта» и «Эсфири», поднявшись с кресла на больных, дрожащих ногах, сказал ей: «Какое горе видеть рождение такой красоты, когда надо уже умирать» (H e r r i o t, op. cit., 503—504, 510). Замечание Сент-Бёва о «литературном» успехе имеет в виду заботы Рашели о безукоризненной подаче классического текста. Сент-Бёв пишет об ее выступлении в «Полиевкте»: «Людская давка, аллодисменты; следишь по книге, чтобы ничего не пропустить; к несчастью, прелестная, благородная и простая Рашель очень устает и едва держится».—«Correspondance Générale», III, 297.

¹⁹⁴ S a i n t e - B e u v e, Mes poisons, 79, 86, 88; см. также «Chroniques Parisiennes», 18.

¹⁹⁵ I b i d., 107—108.

¹⁹⁶ I b i d., 90, 93.

¹⁹⁷ «Chroniques Parisiennes», 149. Об ученичестве Лакордэра и Монталамбера у Ламеннэ в его ультрамонтанский период—см. еще «Causeries du Lundi», I, 81, 226.

¹⁹⁸ S a i n t e - B e u v e, Mes poisons, 112, 113.

¹⁹⁹ Автограф.—Архив Стурдзе-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград. Публикуется впервые.

²⁰⁰ Эта первая статья Сент-Бёва о Жозефе де Местре была напечатана в «Revue des Deux Mondes» 1 августа 1843 г., что определяет датировку письма. Статья с пометкой «июль—август 1849» была перепечатана в «Portraits littéraires», II, 379—457.

²⁰¹ Под лозунгом «свободы преподавания» католическое духовенство, и особенно иезуиты, поддерживаемые правыми группами, требовали возможности открытия собственных школ, изъятых из государственной системы светского образования. В полемике, принявшую ожесточенный характер, были вовлечены высшее духовенство, с одной стороны, и именитая, прогрессивная профессура—с другой. Объединенные выступления в «Collège de France» известного историка Мишле и популярного философа Кине, на тему: «Иезуиты и их методы», были кульминационной точкой общественного отпора клерикальным притязаниям. В предисловии к отдельному изданию лекций Мишле и Кине говорится: «Никогда еще ни одна работа не имела такого успеха... и издание в 8^о, и три издания в 18^о расхватааны в шесть недель... оба автора, объединенные единомыслием и дружбой,—профессора «Коллеж де Франс».

Их курс минувшей весной вызвал волнения, шумные протесты, почти превратившиеся в скандал... Их книга была не произведением агрессии, а произведением обороны» (издательское предисловие к книге «О иезуитах», 1843). Мишле занимал более боевую позицию, нежели Кине; с первых же страниц Мишле пишет: «Остановите любого прохожего на улице, первого встречного, и спросите его: «Что такое иезуиты?»—он ответит, не колеблясь: «Контрреволюция!» («Des Jésuites», 20). Сам Сент-Бёв занимал позицию двусмысленную, как по неприязни к Мишле, так и потому, что острота полемики раздражала его; он утверждал, что иезуитская опасность преувеличена, а духовенство своей агрессией тоже «само себе создает препятствия»; таков характер его заметок для «Revue Suisse». Поэтому оценка выступления обоих профессоров у него—обратная действительности: «Кине и Мишле собрали в отдельном томе и опубликовали свои последние лекции «О иезуитах». Одновременно пущены в продажу портреты их, как двух героев дня... Часть Кине в книге хороша, очень хороша; что же касается Мишле, его часть книги—высокопарна и немного смешна, на мой взгляд, *aegri somnia*».—«Chroniques Parisiennes», 84.

²⁰² Сент-Бёв лишь резюмировал для Эдлинг то, что писал для «Revue Suisse»: «[3 дек. 1843]. Сегодня Лакордэр начал свои проповеди... Он был не в доминиканском облачении (важный вопрос!), а в одежде каноника... У Лакордэра обычно есть блеск, воображение, талант, но ум мало проницательный, исторические сближения натянутые, скорее даже сен-симонистские, нежели христианские»; «[20 дек. 1843] аббат Лакордэр продолжает проповеди перед огромной аудиторией... Он выступает успешнее, чем в первый раз... Он очень блестящ, но у него нет значительности и подлинного христианства... Лакордэр старается выказать себя тем более светским человеком, что он—доминиканец. Он словно бы просит извинить ему его монашеское одеяние».—«Chroniques Parisiennes», 84.

²⁰³ Сент-Бёв и здесь только переделал для Эдлинг то, что несколько раньше писал о положении французской церкви в «Revue Suisse»: «3 мая 1843. Существенным обстоятельством в религиозной жизни Франции вот уже свыше десяти лет является очевидное и полное отмирание галликанства. Это великое, подлинно французское вероисповедание больше не существует... Революция сломала его отличительные свойства... Ныне разум или вера движутся поверх этого, первый—к современному философии, вторая—к ультрамонтанству. Доктрины Бональда, Ламеннэ, и, особенно, Жозефа де Местра взяли верх у верующих, у молодежи. Иезуитство и католицизм отныне уже не отделимы во Франции друг от друга... Иезуиты все больше завоевывают место у нас, это несомненно, ... но в этом нет ничего особо угрожающего нации, обществу, которые их сметут одним движением руки в тот день, когда они забудут, что во Франции они никогда не были у себя».—«Chroniques Parisiennes», 42—45; см. еще 92.

²⁰⁴ Сент-Бёв дает о Казалесе для «Revue Suisse» следующие сведения: «[3 ноября 1843]... г. аббат де Казалес, сын известного члена Конституанты, после углубленной научной работы отправился в Рим и там принял недавно священство. Он был во время Реставрации основателем старого «Correspondant»—солидной, умеренной и очень осведомленной газеты».—«Chroniques Parisiennes», 136.

²⁰⁵ Сороковые годы были в социально-политическом смысле наиболее радикальным периодом в деятельности Ламеннэ; однако, революция 1848 г. показала, что этот радикализм был чисто эмоциональным,—Ламеннэ в 1848 г. выступил против практической деятельности Луи Блана в деле организации рабочих и проповедывал социализм на основе «христианского убеждения ближних».

²⁰⁶ Ненависть к Ламартину ослепляла Сент-Бёва: если Ламартин и «терял уважение», то только в тех салонно-аристократических и правобуржуазных кругах, с которыми общался Сент-Бёв. Наоборот, в левобуржуазных и демократических слоях популярность Ламартина, выступавшего с радикальными речами при каждой okazji, росла и получила яркое выражение в избрании Ламартина в 1848 г. председателем временного правительства. Впрочем, Сент-Бёв застраховал себя на случай такого исхода: «Если бы Франции надо было избрать президента Республики, у Ламартина были бы шансы получить наибольшее количество голосов. Но что это доказывает?»—«Mes poisons», 86.

²⁰⁷ О предстоящем выходе шатобриановской книги о Рансе Сент-Бёв извещал 1 февраля 1844 г. швейцарских читателей: «„История аббата Рансе“, написанная Шатобрианом, уже сдана в печать и этой зимой выйдет в свет. Как прекрасно, что человек, который в 1801 г. открыл век «Гением христианства»,—тот же, кто сорок три года спустя освящает обновой сезон 1844 г.». По выходе книги Сент-Бёв писал в «Revue des Deux Mondes»: «Всё, что ознаменовало себя сколько-нибудь крупно в сфере воображения и поэзии, идет от него... Он знал наследников, продолжателей,

ставших знаменитыми, в свой черед, но не знал людей, превзошедших его... Теперь снова он дает любопытствующему вниманию всех книгу, с нетерпением ожидаемую, от собственной воли которой, если можно так выразиться, зависит стать майским цветком, первенцем сезона. Г-н де Шатобриан как будто не особенно верит в этот действительный интерес к тому, что он пишет, в это общее жадное и почтительное внимание к себе,—и это единственный упрек, который мы решаемся ему направить» («Portraits contemporains», I, 36—37,—статья носит дату 15 мая 1844 г.). В это же время в «Швейцарском Обозрении» он писал не только по адресу книги, но и автора: «4 июня 1844. «Рансе» Шатобриана был разочарованием... Автор «Рансе» влачит траур [по своему прошлому] со всхлипываниями и причитаниями какого-то азиатского царя... Можно сказать, что старцу Времени тут кричат, как г-жа Дюбарри на эшафоте: «Господин палач, еще лишь минутку!»... Что касается нас, менее обязанных, в силу отдаленности нашей, к соблюдению почтения, мы откровенно скажем, что книга эта, которая мыслилась такой простой и такой величественной, оказалась, из-за несерьезности и небрежности, настоящим б р и к - а - б р а к о м; автор кидает всё, ворошит всё и опустошает все свои шкафы. Временами кажется, что орден трапистов выведен на подмостки Парижской оперы. Впрочем, все же почтение запрещает нам продолжать».—«Chroniques Parisiennes», 221—222.

²⁰⁸ Sainte-Beuve, Nouvelle correspondance, 95.